



ИНЕССА ИВАНОВА

ЩИШ ВАМ,
А НЕ МОЯ КОРОНА!

18+

Инеcса Иванова

Шиш вам, а не моя корона!

<https://litres.ru/73920141>

SelfPub; 2026

Аннотация

Акушерка в теле королевы, ждущей ребенка!

Королева Хуана безумно любит своего красивого мужа, который изменяет ей. Все вокруг шепчутся, что королева потихоньку сходит с ума.

Скоро колесо судьбы повернётся: король умрёт, а королева будет девять месяцев возить его тело по стране, пока её не заточат в монастырь, откуда она уже не выйдет. А корону отберёт отец, а потом и рождённый сын.

В истории она останется Хуаной Безумной.

Но тут в её тело подселили меня, не способную иметь детей в своём времени!

И дали шанс на материнство, а я уж его не упущу!

Содержание

Глава 1. Приплыли!	4
Глава 2. Ночная повинность	13
Глава 3. Смотри на меня!	47
Глава 4. Подселенка	93
Глава 5. И тебя вылечат!	136
Глава 6. Звёзды любят хаос	200
Глава 7. Работа началась	207
Глава 8. Две звёздочки мои	215
Глава 9. Гигиена - всем!	221
Конец ознакомительного фрагмента.	225

Инесса Иванова

Шиш вам, а не моя корона!

Глава 1. Приплыли!

Я любила, лелеяла в себе и одновременно ненавидела это чувство.

Зависть, смешанную с восхищением.

Когда заходишь в родильную палату, а там очередная девчонка лет девятнадцати, с испуганными, но счастливыми глазами, и она сжимает в кулачке крошечную ручку с ноготками как перламутровые ракушки.

И она такая уставшая, мокрая от пота, но улыбается, потому что у неё получилось. Потому что теперь она мать.

А я — нет.

И никогда нет.

— Дышите глубже, Марья Ивановна, сейчас мы вас переложим на каталку.

Голос у меня ровный, профессиональный. За пятнадцать лет в акушерстве я научилась прятать всё, что творится внутри.

Своё пекло. Свою пустоту.

Потому что это только моя проблема.

Санитарка Зина, новая, ещё не привыкшая к моему тону,

помогала упаковывать роженицу.

Немолодая, толковая, шустрая для женщины за семьдесят.

Когда палата опустела, я перешла в сестринскую. Опустевшую под вечер, я щёлкнула ролик чайника, да так и осталась стоять у окна.

За стеклом — серый питерский вечер, фонари уже зажглись, и кто-то вёл по лужам ребёнка за руку. Ребёнок прыгал в калошах. Мать смеялась.

— Вы бы пошли домой пораньше завтра, Анна Сергеевна, — сказала Зина, вытирая пол. Чистюля. Глядя, как она моет пол, чувствуя запах антисептика, я странным образом успокаивалась.

И собственная жизнь казалась терпимой.

— В восемь смена заканчивается, а вы всё до десяти возитесь. Вот и устаёте потом. Дома бы отдохнули. Дома и стены помогают.

— Дома? — переспросила я не оборачиваясь. — В пустую однушку, где меня никто не ждёт? Спасибо.

Зина промолчала. Но я чувствовала её взгляд — тот самый, жалостливый, от которого хотелось выть.

Всё понимающий, молчащий.

— Знаете, Зина Леонидовна, — сказала я, сама не зная зачем, — я бы хотела чудо. Просто взять и однажды проснуться там, где у меня куча детей. Где я — мать. Многодетная. Чтобы ко мне тянулись эти маленькие тёплые ручки, чтобы

я знала, что такое своя кровь. А не чужие дети, которых я принимаю, укладываю в кюезы, отдаю мамочкам и ухожу в ночь сюда, прячусь в комнате для персонала, чтобы не плакать. Одна.

Зина отжала тряпку. Помолчала. Потом сказала негромко, с каким-то странным прищуром:

— Не все дети в радость. Иной бедокурит, второй дорастёт, возмужает, и давай — мать в психушку, а самому её наследством разжиться.

Говорила она это как-то странно. Будто с ней самой случилось.

Я обернулась, и она, убрав седые волосы в лица, засмеялась совсем по молодому:

— Да не, не со мной было. Но было при мне. Мать такая тоже хотела другую судьбу, бездетную. А рожала исправно. И богатая была безмерно. Мужа любила сильнее всех детей своих, которых от него родила, а он её предавал. Изменял, проявлял холодность души. А она сума сошла после его ранней кончины, душу свою вынула и ему во гроб положила. Да не давала хоронить их много месяцев

— Нашла по ком плакать! — пожалала я плечами и подошла к столику налить чай.

Вспомнила своего бывшего мужа. Тот тоже ходок был. Прощала сначала, а потом выгнала. К беременной девочке та ему двойню родила, но его и дети не остановили.

Ходок, он ходит не от кого-то. А к кому-то. К кому-то все-

гда новому.

— Сама своего счастья не понимает! Значит, воспитала дурно сына, надо было лучше воспитывать. И меньше за кобелём бегать!

— А ты бы иначе смогла?

Снова усмешка. Странная эта Зина. Новенькая. Месяц здесь, не больше. И говорит, что скоро уйдёт.

— Хочется думать, что смогла бы.

— А вы тогда монетку киньте в моё ведро, коли так хотите.

— Что?

— В ведро киньте, — повторила она. — С закрытыми глазами. И загадайте: «Не нужна мне своя судьба. Возьму чужую. Ту, кому я смогу помочь». И всё. Всё у вас будет, но обратно не вернуть.

Я усмехнулась. Вот ещё, бабкины сказки. Зина, оказывается, правда странная.

— И кому я, по-вашему, могу помочь? — спросила я, просто чтобы закончить этот разговор. — Я и так помогаю детям приходить на свет.

Зина пожала плечами. Взгляд у неё сделался совсем чужой, не санитарки. Какой-то чужой для любого живого существа.

— А это, Анна Сергеевна, судьба решит. И ваш Бог, тут я не властна. Отвернуться — отвернусь, подглядывать в такой момент не след, чтобы не сбить путь.

Она отвернулась и вышла, оставив ведро с мутной водой у порога.

Я постояла. Посмотрела на ведро.

И — сама не знаю зачем — запустила руку в карман халата. Мелочь всегда есть, расплачиваться в буфете. Нашупала пять рублей.

«Дура ты, Анна. Сорок лет прожила, а туда же — в приметы».

Закрыла глаза., сама не зная зачем.\

Кинула.

Пятёрка шлёпнулась в воду с глухим звуком, и в ту же секунду у меня подкосились ноги, мир перевернулся, и запахло воском.

Гвоздикой. И ещё — чем-то сладковато-гнилостным, от чего у опытной акушерки холодеет внутри.

Запахом скорой смерти.

Или очень тяжёлых родов.

Я открыла глаза и обнаружила, что полулежу в кресле.

Потолок надо мной был тёмный, дубовый, с вырезанными драконами.

И комната странной, роскошной не по-современному. Душной.

Балдахин у огромной кровати — бордовый бархат с золотым шитьём.

Свечи. Везде свечи, целый лес воска.

И я полулежу на чём-то жёстком, на кресле у камина, ко-

торое пахнет лавандой и мужским потом. Чужим потом.

И первая мысль была не «где я?».

Первая мысль была — «у меня нет халата».

Вторая — «боже, какое тяжёлое платье, оно меня душит».

А третья уже не успела оформиться, потому что дверь с грохотом распахнулась, вбежали какие-то полубезумные девицы в средневековых платьях и доложили, что король желает навестить меня.

— Его величество пришёл подарить любовь и ласку.

Одна была особенно дерзка. Молодая, с декольте таким, что стыдно в коридор выйти.

Но отчитать я её не успела.

Все присели в поклонах, и на пороге моей спальни, отчего-то я знала, что это она, и я здесь довольно долго, возник мужчина.

Такой красивой скотины я не видела за всю свою жизнь. А повидала я их немало, мужей, приходящих с цветами к роддому.

От них часто пахло алкоголем, растерянностью и похотью.

От того, кого называли королём, несло пресыщенностью, что бывает у недавно сношавшегося кобеля. Или мужчины, кто занимался изменой.

И ничуть в этом не раскаивается.

Всё это мгновенно пронеслось в моей голове и осело в душе желанием скандала.

Мысли были неповоротливыми, чужими, как и тело. Ху-

дое, закованное в корсет, оно уже трепетало в предвкушении ласки. А руки чесались отвесить неверному мужу пощёчины.

Не моё тело. Не мои руки. Я чувствовала себя пленницей здесь. И она тоже это чувствовала. Она — прежняя хозяйка.

Это сон, конечно, сон. И мужчина, смотрящий на меня с некой смесью скуки и желания, тоже.

Золотистые волосы, чуть влажные, словно только с прогулки.

Глаза цвета штормового моря.

Тонкие губы, которые сейчас кривились в усмешке.

Камзол расшит серебром, шпага, сапоги со шпорами. И запах от него — мускус, красное вино и чужая женская пудра.

— Долго мне ждать, пока ты поприветствуешь супруга, как следует? — сказал он с лёгким, певучим акцентом. — Я пришёл оказать тебе супружескую милость. Твой отец, король Фердинанд ждёт вестей о внуке, что вызреет в твоём чреве. Я тоже. Разденьте королеву. И подайте вина.

Я оцепенела.

Пренебрежение, во всём, пренебрежение. Я сносила его от бывшего мужа, а потом выгнала.

Выгоню и этого красавца.

— Убирайся, — процедила сквозь зубы. Руки сами собой сжались в кулаки.

Он шагнул ко мне. Схватил за подбородок, задрал моё лицо к свечам.

— Глаза красные. Опять плакала?! Может, твой отец прав: ты всегда была немного безумна? — Он усмехнулся, и в этой усмешке было такое знакомое, такое тошнотворное самодовольство, от которого у меня свело живот. — Молчи. Не говори ничего. К счастью для тебя, я не за разговором пришёл. Ты родила двоих, но обе — никчёмные девочки. Постарайся дать мне сына, а не очередной выкидыш.

Отошёл от меня к дальнему углу, где стоял столик, на котором одна из моих фрейлин уже подносила ему с улыбкой бокал красного вина.

Остальные отгородили меня от мужа и принялись расшнуровывать завязки платья.

Я была рада, что избавлюсь от этой тяжести. И всё ещё слишком слаба, чтобы дать отпор, чтобы громко протестовать.

Где я? Что за странный сон?!

Только во мне остаёшься такой беспомощной!

Муж осушил бокал и начал расстёгивать свой камзол. Одно движение — и золотая пряжка брякнула об пол.

А я вдруг поняла. Осознала ответ, где я и кто передо мной. Он всплыл в моей или её памяти, как мусор на поверхности омута.

Поняла по бархату, по гербу на стене (кастильские замки, львы Арагона), по этой жеманной, жестокой красоте его лица.

Филипп Красивый.

Герцог Бургундский.

А моё имя — Хуана из династии Трастамара. Королева Кастилии, Арагона и Наварры.

Глава 2. Ночная повинность

И снова знания совсем не мои, но что теперь говорить!

Ужаснули ли они меня? Нисколько! Потому что я не верю, что всё это взаправду!

Закрывает глаза. Совсем как в детстве: не вижу зла. Не слышу зал, тебя здесь нет!

Повторяю шёпотом, пока участливые женские руки раздевают меня, готовят к брачной ночи, оставляя в одной тонкой батистовой сорочке.

Кто-то заботливо снимает нательный крест, чтобы не осквернить Господа грехом, пусть и супружеским.

И снова чужие мысли!

Тебя здесь нет!

Виски пронзает боль и я услышала её голос. Голос Зины: «Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Я хочу сказать: «Хватит!», но она безжалостно продолжает говорить в моей голове: «Мать, которую объявляют сумасшедшей. Жена, которую муж запирает в башне, пока весело трахал её фрейлин. Женщина, чьих детей вырвут из её рук, чтобы она сгнила в монастыре от старости и бессильной ярости. Как тебе такая судьба, Анна?»

Ответить я не успела. Меня подвели к постели и уложили. Как жертвенного ягнёнка на алтарь. И накрыли простыней.

Я всё ещё не открывала глаз.

Тебя здесь нет!

Но память услужливо подсказывала: он сейчас ляжет на меня — грузно, тяжело, по-хозяйски — и сделает то, что здесь называется «супружеским долгом», а на моём родном языке — легализованным насилием.

Но бедняга Хуана будет счастлива даже такой малой любви.

И я, Анна, акушерка с двадцатипятилетним стажем, увидевшая тысячи родов и среди них даже жертв насилия, почувствовала, как в горле встаёт ком.

А потом — как в груди разливается что-то другое.

Не мой страх. Не моя злость.

Это тело Хуаны вспоминало, как ненавидеть. Ненавидеть, чтобы заглушить любовь. Безответную, чёрную, сжигающую душу.

Руки дрожали. В висках стучало. И я открыла рот, чтобы сказать что? «Я не Хуана»?

«Убирайся, придурок»?

Или просто заорать тем диким, средневековым криком, который здесь сочтут очередным приступом безумия?

Я не успела.

Открыла глаза и увидела, как фрейлины тихо вышли. Смотреть на мужа не хотелось. И одновременно тело трепетало от мысли, что сейчас оно получит крохи с барского стола.

Какие мы женщины всё-таки дурочки!

Он уже сдёрнул с меня простыню, и холодный воздух ударил в голые ноги, а в голове у меня щёлкнуло — профессиональное, намертво вбитое:

«Он не уйдёт. Ему нужен наследник. А мне нужны сутки, чтобы понять, где я и как это тело выносит беременность. Не сопротивляйся. Перетерпи. Потом разберёшься».

Это что-то из другой жизни. Жизни, которая переплелась с этим странным сном.

Санитарка Зина. Монетка в ведро. «Возьму чужую судьбу. Ту, кому я смогу помочь».

Помочь? Ей? Хуане?

Помочь в чём?

Или себе — той Анне, что так и не стала матерью?

Я снова закрыла глаза.

И позволила ему лечь рядом.

Но когда его губы коснулись моей шеи, я прошептала — тихо так тихо, чтобы он не расслышал сквозь своё пьяное мычание:

— Если обидишь — убью, гад. Не сегодня. Но убью.

Это было не обещание Хуаны.

Это была моё.

Он засмеялся.

Тихо, гортанно, и этот смех опалил мою шею горячим вином и презрением.

— Убьёшь? Открой глаза, Хуана, ты принимала лекар-

ство?— Филипп приподнялся на локте, разглядывая меня так, будто я заговорила на языке, которого он не знает, но который его забавляет. — Дорогая, ты даже муху прихлопнуть не можешь. Только истерить умеешь да по углам плакать. Мне досталась в жёны монашка!

Он сказал это буднично, как о погоде.

Он намекал, что Хуана из строгой семьи. Дочь Фердинанда и Изабеллы — великой властительницы, она была воспитана в католической строгости.

И столкнувшись с роскошью бургундского двора, с его передовыми взглядами и вольным обращением, опешила. Замялась в себе, когда поняла, что муж — ходок налево.

И во мне что-то щёлкнуло.

Не моё. Её. Королевское.

То, что спало глубоко в костях этого молодого, сильного тела. То, что заставляло королеву Кастилии швырять подсвечники в любовниц мужа и кусать подушки до крови.

— Не трогай меня, раз я тебе противна! — сказала я. — Я не безумна, а ты дурак, раз не видишь этого!

Чётко. Холодно. Так, как говорят с провинившимся санитаром в родзале.

Филипп удивился. Приподнял бровь — выщипанную, модную, бургундскую.

— О, у нас сегодня новое представление? — он провёл пальцем по моей ключице, и я дёрнулась, как от ожога. — Не ломайся, Хуана. Я знаю, ты ждала. Ты всегда ждёшь. Счита-

ешь шаги до моей спальни. И минуты, пока я приду к тебе. Тебе сегодня повезло, жена!

Я толкнула его в грудь.

Это было слабо. Тело Хуаны не знало, как бьют по-настоящему, потому что хотело иного. Но сам жест — резкий, отчаянный — заставил его замереть.

И тут же мои руки внезапно обвинили его шею и притянули к себе. Хуана, её тело отчаянно желало этого мужчину.

— Я сказала: не трогай, — промурлыкала я.

На секунду в его глазах мелькнуло что-то живое. Не скука. Не раздражение.

Интерес.

— Ах ты стерва, — протянул он без злобы, скорее с удивлением. — Решила поиграть? Я научу тебя покорности жены перед мужем.

Он перехватил мои запястья, снял мои руки со своей шеи. Легко, будто я не королева, а провинившаяся служанка. И прижал их над моей головой, прижатыми к подушке.

Я выгнулась. Попыталась вырваться. Но получилось так, будто заигрываю.

И что самое дрянное, мне хотелось, чтобы он именно так и думал. Или это мысли Хуаны.

Филипп был тяжелее, сильнее, и от этого осознания внизу живота разлилась гадкая, предательская теплота.

Нет. Нет, только не это.

Или то самое в самый раз?

Одинокие ночи, холодные утра, а тут, жаркое тело самца, желающего свою самку. Он и сам пока не понимает, как будет хотеть меня.

Вот и хорошо.

Но мой пыл сразу охладила мысль: «Как бы чего от него не подцепить. От блудливого кота!»

— Пусти, Фил. Я не в настроении играть в твои похотливые игры, — промурлыкала я ему на ухо. Покусывая мочку. — Иди к своим блудницам.

Фил. Он снова удивился, так его никто не называл.

«Ваше величество, Филипп», — шептали его высокородные шлюхи.

Решено, буду звать его так.

— Ах, не в настроении? — Он наклонился ниже, и его волосы упали мне на лицо — пахли дорогим маслом и конским потом.

Король принялся целовать меня в шею, и я застонала от сладкой него.

— А что же ты тогда делаешь в моей постели, жена?

— Это моя постель. И ты пришёл сюда.

— Потому что должен, — он усмехнулся и провёл носом по моей щеке. — Как и ты должна. Должна терпеть. Должна рожать. Должна любить меня, даже когда я трахаю твоих фрейлин на твоём же гардеробе.

Это было слишком, но он уже раздвинул мне ноги, и вырваться не было сил. Ни душевных, ни физических.

Желание заполонило меня.

Я накажу тебя, дорогой король. Ты будешь искать тела своей супруги.

Но я всё же накажу тебя.

Прямо сейчас тоже. Унижение — что может быть сильнее этого удара?

Твои слова, это было так подло, так намеренно жестоко, что я плюнула.

Прямо в его красивое, холёное лицо. ***

Филипп замер.

На секунду мне показалось — убьёт. Или ударит. Я видела, как в его глазах разгорается ярость — синяя, ледяная, опасная.

Ярость напололам с похотью. Первобытной, жестокой, когда думаешь только о себе. И немного о той, кому желаешь сделать больно.

Но вместо этого он облизал губы.

Медленно. Смакуя.

И улыбнулся.

— Вот это уже интересно, — сказал он, и в голосе не осталось и следа скуки. — Где ты была раньше, Хуана? Где прятала эту дерзость?

Он отпустил мои руки, но я не успела обрадоваться.

Потому что он схватил меня за талию и одним движением перевернул на живот.

Я вскрикнула — от неожиданности, от унижения, от того,

как легко он со мной справляется, будто я тряпичная кукла. И от предвкушения, от той дрожи, что охватило чужое худое, гибкое тело.

Оно помнило его прикосновения, оно желало их. И я тоже.

Красивым, сильным самцам отдаваться приятно. А что мне до обид другой?

Разберусь потом.

У меня давно не было секса, слишком давно. И вот сейчас я отчаянно хотела, чтобы этот мужчина проник в меня грубо, чтобы схватил за волосы и прошептал, как сильно хочет меня отыметь.

— Тихо, — сказал он мне в ухо, прижимая всем телом к перине. Будто подслушал мои мысли. — Ты хотела драться? Давай. Я не против. Мне надоела твоя роль покорной овечки.

Я попыталась вывернуться. Ударить локтем. Да что угодно!

Пусть получит сполна. Меня тоже получит, но вначале я покажу, что надо завоевать женщину. Пусть и таким примитивным первобытным способом. Животной похотью.

И он понял. Четыре года брака просто так не проходят.

Уже задрал мою сорочку выше пояса, и холодный воздух обжёг ягодицы.

— Фил, не смей

— Смотрю и смею, — он провёл ладонью по моей спине, грубо, почти небрежно. — Какая ты горячая, когда злишься.

Знаешь, я уже забыл, каково это — хотеть собственную жену. Ты ли это, Хуана?

Не я. Но это неважно, верно?

Вначале, переступив порог, он не хотел меня. Он хотел власть. Игру. Соппротивление, которое можно сломать.

Но тело Хуаны — молодое, голодное, отчаянно жаждущее даже такой любви — отзывалось на каждое его прикосновение.

Я закусила губу, чтобы не застонать. Чтобы не выдать себя.

Рано. Пусть думает, что я в ужасе от его манер.

— Ненавижу твои измены, — прошептала я в подушку.

— Знаю, — он вошёл резко, без подготовки, и я выгнулась от боли и неожиданности. — Но меня любишь. И это делает тебя такой живой.

Он двигался тяжело, по-хозяйски, и каждая его ласка была как пощёчина, распалывшая ещё больше.

Грубо. Быстро. Без нежности.

Я уже не готова была сдерживаться. Выпустила стоны наружу, начала подмахивать ему бёдрами.

Он заполнил меня всю, и это было чертовски приятно. Я давно не трахалась вот так беззастенчиво, почти с незнакомым мужчиной с сильными, крепкими руками, сжимавшими мою талию.

Вишенка на торте — это мой законный супруг. Человек, которого я люблю, ненавижу и который делает мне чертов-

ски приятно, как никто из тех, кто у меня был раньше.

И между ударами его бёдер, между моими стиснутыми зубами и влажными от злости глазами случилось то, чего я боялась больше всего.

Я больше не могла сдерживать крики страсти.

И кончила под ним на пару секунд раньше, чем почувствовала, как меня наполняет его семя.

Он замедлился. Усмехнулся.

— А вот и моя Хуана, — прошептал он мне на ухо, и в голосе звучало победное. — Та, что плачет, когда я ухожу. Та, что ждёт. Та, что любит. Покорная и всегда жаждущая угодить своему господину.

— Я не люблю тебя, — выдохнула я, сжимая простыни до белых костяшек.

— А это, — он прикусил мне мочку до лёгкой боли, и мир перед глазами, мой новый мир поплыл, — уже не важно.

Откинулся на спину, тяжело дыша, и я почувствовала, как по внутренней стороне бедра течёт что-то тёплое и липкое.

Меня бесстыдно поимел король, и я была бы не прочь однажды это повторить. Мне уже сделалось холодно без его объятий.

Пылкий любовник — то, что нужно, чтобы залечить душевные раны.

«Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Голос Зины. Или моя совесть. Или проклятие.

Я лежала неподвижно рядом, перевернувшись на спину. Смотрела в потолок, на драконов, вырезанных в тёмном дереве.

Филипп повернулся ко мне спиной. Уже скучающий. Уже далёкий.

— Приведи себя в порядок и будь благоразумной, — бросил он через плечо. — Завтра приедет твой отец, король Фердинанд. Не позорь меня и себя. Прими снадобья.

Я ничего не ответила.

Я считала до десяти, как учила себя много лет назад, в другой жизни, когда пациентка умирала на столе, а руки тряслись, но нужно было продолжать.

Раз. Два. Три.

Глаза сухие. Я — Анна. Я — акушерка. Я видела и не такое.

Справлюсь. Или очнусь от этого странного сна.

Четыре. Пять. Шесть.

Я — Хуана. Я — королева. И он заплатит за каждую секунду этого унижения.

Семь. Восемь. Девять.

Он не заметил, как мои пальцы сжались в кулак.

Десять.

Я понесу ребёнка от этой бесстыдной связи.

Я улыбнулась в темноту.

И начала ждать.

Неужели это возможно? После стольких лет ожиданий и

приговора врачей?

Тогда это и будет настоящим чудом!

Ужаснули ли они меня? Нисколько! Потому что я не верю, что всё это взаправду!

Закрыла глаза. Совсем как в детстве: не вижу зла. Не слышу зал, тебя здесь нет!

Повторяю шёпотом, пока участливые женские руки раздевают меня, готовят к брачной ночи, оставляя в одной тонкой батистовой сорочке.

Кто-то заботливо снимает нательный крест, чтобы не осквернить Господа грехом, пусть и супружеским.

И снова чужие мысли!

Тебя здесь нет!

Виски пронзает боль и я услышала её голос. Голос Зины: «Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Я хочу сказать: «Хватит!», но она безжалостно продолжает говорить в моей голове: «Мать, которую объявят сумасшедшей. Жена, которую муж запирает в башне, пока весело трахал её фрейлин. Женщина, чьих детей вырвут из её рук, чтобы она сгнила в монастыре от старости и бессильной ярости. Как тебе такая судьба, Анна?»

Ответить я не успела. Меня подвели к постели и уложили. Как жертвенного ягнёнка на алтарь. И накрыли простыней.

Я всё ещё не открывала глаз.

Тебя здесь нет!

Но память услужливо подсказывала: он сейчас ляжет на меня — грузно, тяжело, по-хозяйски — и сделает то, что здесь называется «супружеским долгом», а на моём родном языке — легализованным насилием.

Но бедняга Хуана будет счастлива даже такой малой любви.

И я, Анна, акушерка с двадцатипятилетним стажем, увидевшая тысячи родов и среди них даже жертв насилия, почувствовала, как в горле встаёт ком.

А потом — как в груди разливается что-то другое.

Не мой страх. Не моя злость.

Это тело Хуаны вспоминало, как ненавидеть. Ненавидеть, чтобы заглушить любовь. Безответную, чёрную, сжирающую душу.

Руки дрожали. В висках стучало. И я открыла рот, чтобы сказать что? «Я не Хуана»?

«Убирайся, придурок»?

Или просто заорать тем диким, средневековым криком, который здесь сочтут очередным приступом безумия?

Я не успела.

Открыла глаза и увидела, как фрейлины тихо вышли. Смотреть на мужа не хотелось. И одновременно тело трепетало от мысли, что сейчас оно получит крохи с барского стола.

Какие мы женщины всё-таки дурочки!

Он уже сдёрнул с меня простыню, и холодный воздух ударил в голые ноги, а в голове у меня щёлкнуло — профессиональное, намертво вбитое:

«Он не уйдёт. Ему нужен наследник. А мне нужны сутки, чтобы понять, где я и как это тело выносит беременность. Не сопротивляйся. Перетерпи. Потом разберёшься».

Это что-то из другой жизни. Жизни, которая переплелась с этим странным сном.

Санитарка Зина. Монетка в ведро. «Возьму чужую судьбу. Ту, кому я смогу помочь».

Помочь? Ей? Хуане?

Помочь в чём?

Или себе — той Анне, что так и не стала матерью?

Я снова закрыла глаза.

И позволила ему лечь рядом.

Но когда его губы коснулись моей шеи, я прошептала — тихо так тихо, чтобы он не расслышал сквозь своё пьяное мычание:

— Если обидишь — убью, гад. Не сегодня. Но убью.

Это было не обещание Хуаны.

Это была моё.

Он засмеялся.

Тихо, гортанно, и этот смех опалил мою шею горячим вином и презрением.

— Убьёшь? Открой глаза, Хуана, ты принимала лекар-

ство?— Филипп приподнялся на локте, разглядывая меня так, будто я заговорила на языке, которого он не знает, но который его забавляет. — Дорогая, ты даже муху прихлопнуть не можешь. Только истерить умеешь да по углам плакать. Мне досталась в жёны монашка!

Он сказал это буднично, как о погоде.

Он намекал, что Хуана из строгой семьи. Дочь Фердинанда и Изабеллы — великой властительницы, она была воспитана в католической строгости.

И столкнувшись с роскошью бургундского двора, с его передовыми взглядами и вольным обращением, опешила. Замялась в себе, когда поняла, что муж — ходок налево.

И во мне что-то щёлкнуло.

Не моё. Её. Королевское.

То, что спало глубоко в костях этого молодого, сильного тела. То, что заставляло королеву Кастилии швырять подсвечники в любовниц мужа и кусать подушки до крови.

— Не трогай меня, раз я тебе противна! — сказала я. — Я не безумна, а ты дурак, раз не видишь этого!

Чётко. Холодно. Так, как говорят с провинившимся санитаром в родзале.

Филипп удивился. Приподнял бровь — выщипанную, модную, бургундскую.

— О, у нас сегодня новое представление? — он провёл пальцем по моей ключице, и я дёрнулась, как от ожога. — Не ломайся, Хуана. Я знаю, ты ждала. Ты всегда ждёшь. Счита-

ешь шаги до моей спальни. И минуты, пока я приду к тебе. Тебе сегодня повезло, жена!

Я толкнула его в грудь.

Это было слабо. Тело Хуаны не знало, как бьют по-настоящему, потому что хотело иного. Но сам жест — резкий, отчаянный — заставил его замереть.

И тут же мои руки внезапно обвили его шею и притянули к себе. Хуана, её тело отчаянно желало этого мужчину.

— Я сказала: не трогай, — промурлыкала я.

На секунду в его глазах мелькнуло что-то живое. Не скука. Не раздражение.

Интерес.

— Ах ты стерва, — протянул он без злобы, скорее с удивлением. — Решила поиграть? Я научу тебя покорности жены перед мужем.

Он перехватил мои запястья, снял мои руки со своей шеи. Легко, будто я не королева, а провинившаяся служанка. И прижал их над моей головой, прижатыми к подушке.

Я выгнулась. Попыталась вырваться. Но получилось так, будто заигрываю.

И что самое дрянное, мне хотелось, чтобы он именно так и думал. Или это мысли Хуаны.

Филипп был тяжелее, сильнее, и от этого осознания внизу живота разлилась гадкая, предательская теплота.

Нет. Нет, только не это.

Или то самое в самый раз?

Одинокие ночи, холодные утра, а тут, жаркое тело самца, желающего свою самку. Он и сам пока не понимает, как будет хотеть меня.

Вот и хорошо.

Но мой пыл сразу охладила мысль: «Как бы чего от него не подцепить. От блудливого кота!»

— Пусти, Фил. Я не в настроении играть в твои похотливые игры, — промурлыкала я ему на ухо. Покусывая мочку. — Иди к своим блудницам.

Фил. Он снова удивился, так его никто не называл.

«Ваше величество, Филипп», — шептали его высокородные шлюхи.

Решено, буду звать его так.

— Ах, не в настроении? — Он наклонился ниже, и его волосы упали мне на лицо — пахли дорогим маслом и конским потом.

Король принялся целовать меня в шею, и я застонала от сладкой него.

— А что же ты тогда делаешь в моей постели, жена?

— Это моя постель. И ты пришёл сюда.

— Потому что должен, — он усмехнулся и провёл носом по моей щеке. — Как и ты должна. Должна терпеть. Должна рожать. Должна любить меня, даже когда я трахаю твоих фрейлин на твоём же гардеробе.

Это было слишком, но он уже раздвинул мне ноги, и вырваться не было сил. Ни душевных, ни физических.

Желание заполонило меня.

Я накажу тебя, дорогой король. Ты будешь искать тела своей супруги.

Но я всё же накажу тебя.

Прямо сейчас тоже. Унижение — что может быть сильнее этого удара?

Твои слова, это было так подло, так намеренно жестоко, что я плюнула.

Прямо в его красивое, холёное лицо. ***

Филипп замер.

На секунду мне показалось — убьёт. Или ударит. Я видела, как в его глазах разгорается ярость — синяя, ледяная, опасная.

Ярость напололам с похотью. Первобытной, жестокой, когда думаешь только о себе. И немного о той, кому желаешь сделать больно.

Но вместо этого он облизал губы.

Медленно. Смакуя.

И улыбнулся.

— Вот это уже интересно, — сказал он, и в голосе не осталось и следа скуки. — Где ты была раньше, Хуана? Где прятала эту дерзость?

Он отпустил мои руки, но я не успела обрадоваться.

Потому что он схватил меня за талию и одним движением перевернул на живот.

Я вскрикнула — от неожиданности, от унижения, от того,

как легко он со мной справляется, будто я тряпичная кукла. И от предвкушения, от той дрожи, что охватило чужое худое, гибкое тело.

Оно помнило его прикосновения, оно желало их. И я тоже.

Красивым, сильным самцам отдаваться приятно. А что мне до обид другой?

Разберусь потом.

У меня давно не было секса, слишком давно. И вот сейчас я отчаянно хотела, чтобы этот мужчина проник в меня грубо, чтобы схватил за волосы и прошептал, как сильно хочет меня отыметь.

— Тихо, — сказал он мне в ухо, прижимая всем телом к перине. Будто подслушал мои мысли. — Ты хотела драться? Давай. Я не против. Мне надоела твоя роль покорной овечки.

Я попыталась вывернуться. Ударить локтем. Да что угодно!

Пусть получит сполна. Меня тоже получит, но вначале я покажу, что надо завоевать женщину. Пусть и таким примитивным первобытным способом. Животной похотью.

И он понял. Четыре года брака просто так не проходят.

Уже задрал мою сорочку выше пояса, и холодный воздух обжёг ягодицы.

— Фил, не смей

— Смотрю и смею, — он провёл ладонью по моей спине, грубо, почти небрежно. — Какая ты горячая, когда злишься.

Знаешь, я уже забыл, каково это — хотеть собственную жену. Ты ли это, Хуана?

Не я. Но это неважно, верно?

Вначале, переступив порог, он не хотел меня. Он хотел власть. Игру. Соппротивление, которое можно сломать.

Но тело Хуаны — молодое, голодное, отчаянно жаждущее даже такой любви — отзывалось на каждое его прикосновение.

Я закусила губу, чтобы не застонать. Чтобы не выдать себя.

Рано. Пусть думает, что я в ужасе от его манер.

— Ненавижу твои измены, — прошептала я в подушку.

— Знаю, — он вошёл резко, без подготовки, и я выгнулась от боли и неожиданности. — Но меня любишь. И это делает тебя такой живой.

Он двигался тяжело, по-хозяйски, и каждая его ласка была как пощёчина, распалывшая ещё больше.

Грубо. Быстро. Без нежности.

Я уже не готова была сдерживаться. Выпустила стоны наружу, начала подмахивать ему бёдрами.

Он заполнил меня всю, и это было чертовски приятно. Я давно не трахалась вот так беззастенчиво, почти с незнакомым мужчиной с сильными, крепкими руками, сжимавшими мою талию.

Вишенка на торте — это мой законный супруг. Человек, которого я люблю, ненавижу и который делает мне чертов-

ски приятно, как никто из тех, кто у меня был раньше.

И между ударами его бёдер, между моими стиснутыми зубами и влажными от злости глазами случилось то, чего я боялась больше всего.

Я больше не могла сдерживать крики страсти.

И кончила под ним на пару секунд раньше, чем почувствовала, как меня наполняет его семя.

Он замедлился. Усмехнулся.

— А вот и моя Хуана, — прошептал он мне на ухо, и в голосе звучало победное. — Та, что плачет, когда я ухожу. Та, что ждёт. Та, что любит. Покорная и всегда жаждущая угодить своему господину.

— Я не люблю тебя, — выдохнула я, сжимая простыни до белых костяшек.

— А это, — он прикусил мне мочку до лёгкой боли, и мир перед глазами, мой новый мир поплыл, — уже не важно.

Откинулся на спину, тяжело дыша, и я почувствовала, как по внутренней стороне бедра течёт что-то тёплое и липкое.

Меня бесстыдно поимел король, и я была бы не прочь однажды это повторить. Мне уже сделалось холодно без его объятий.

Пылкий любовник — то, что нужно, чтобы залечить душевные раны.

«Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Голос Зины. Или моя совесть. Или проклятие.

Я лежала неподвижно рядом, перевернувшись на спину. Смотрела в потолок, на драконов, вырезанных в тёмном дереве.

Филипп повернулся ко мне спиной. Уже скучающий. Уже далёкий.

— Приведи себя в порядок и будь благоразумной, — бросил он через плечо. — Завтра приедет твой отец, король Фердинанд. Не позорь меня и себя. Прими снадобья.

Я ничего не ответила.

Я считала до десяти, как учила себя много лет назад, в другой жизни, когда пациентка умирала на столе, а руки тряслись, но нужно было продолжать.

Раз. Два. Три.

Глаза сухие. Я — Анна. Я — акушерка. Я видела и не такое.

Справлюсь. Или очнусь от этого странного сна.

Четыре. Пять. Шесть.

Я — Хуана. Я — королева. И он заплатит за каждую секунду этого унижения.

Семь. Восемь. Девять.

Он не заметил, как мои пальцы сжались в кулак.

Десять.

Я понесу ребёнка от этой бесстыдной связи.

Я улыбнулась в темноту.

И начала ждать.

Неужели это возможно? После стольких лет ожиданий и

приговора врачей?

Тогда это и будет настоящим чудом!

Ужаснули ли они меня? Нисколько! Потому что я не верю, что всё это взаправду!

Закрывает глаза. Совсем как в детстве: не вижу зла. Не слышу зал, тебя здесь нет!

Повторяю шёпотом, пока участливые женские руки раздевают меня, готовят к брачной ночи, оставляя в одной тонкой батистовой сорочке.

Кто-то заботливо снимает нательный крест, чтобы не осквернить Господа грехом, пусть и супружеским.

И снова чужие мысли!

Тебя здесь нет!

Виски пронзает боль и я услышала её голос. Голос Зины: «Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Я хочу сказать: «Хватит!», но она безжалостно продолжает говорить в моей голове: «Мать, которую объявят сумасшедшей. Жена, которую муж запирает в башне, пока весело трахал её фрейлин. Женщина, чьих детей вырвут из её рук, чтобы она сгнила в монастыре от старости и бессильной ярости. Как тебе такая судьба, Анна?»

Ответить я не успела. Меня подвели к постели и уложили. Как жертвенного ягнёнка на алтарь. И накрыли простыней.

Я всё ещё не открывала глаз.

Тебя здесь нет!

Но память услужливо подсказывала: он сейчас ляжет на меня — грузно, тяжело, по-хозяйски — и сделает то, что здесь называется «супружеским долгом», а на моём родном языке — легализованным насилием.

Но бедняга Хуана будет счастлива даже такой малой любви.

И я, Анна, акушерка с двадцатипятилетним стажем, увидевшая тысячи родов и среди них даже жертв насилия, почувствовала, как в горле встаёт ком.

А потом — как в груди разливается что-то другое.

Не мой страх. Не моя злость.

Это тело Хуаны вспоминало, как ненавидеть. Ненавидеть, чтобы заглушить любовь. Безответную, чёрную, сжирающую душу.

Руки дрожали. В висках стучало. И я открыла рот, чтобы сказать что? «Я не Хуана»?

«Убирайся, придурок»?

Или просто заорать тем диким, средневековым криком, который здесь сочтут очередным приступом безумия?

Я не успела.

Открыла глаза и увидела, как фрейлины тихо вышли. Смотреть на мужа не хотелось. И одновременно тело трепетало от мысли, что сейчас оно получит крохи с барского стола.

Какие мы женщины всё-таки дурочки!

Он уже сдёрнул с меня простыню, и холодный воздух ударил в голые ноги, а в голове у меня щёлкнуло — профессиональное, намертво вбитое:

«Он не уйдёт. Ему нужен наследник. А мне нужны сутки, чтобы понять, где я и как это тело выносит беременность. Не сопротивляйся. Перетерпи. Потом разберёшься».

Это что-то из другой жизни. Жизни, которая переплелась с этим странным сном.

Санитарка Зина. Монетка в ведро. «Возьму чужую судьбу. Ту, кому я смогу помочь».

Помочь? Ей? Хуане?

Помочь в чём?

Или себе — той Анне, что так и не стала матерью?

Я снова закрыла глаза.

И позволила ему лечь рядом.

Но когда его губы коснулись моей шеи, я прошептала — тихо так тихо, чтобы он не расслышал сквозь своё пьяное мычание:

— Если обидишь — убью, гад. Не сегодня. Но убью.

Это было не обещание Хуаны.

Это была моё.

Он засмеялся.

Тихо, гортанно, и этот смех опалил мою шею горячим вином и презрением.

— Убьёшь? Открой глаза, Хуана, ты принимала лекар-

ство?— Филипп приподнялся на локте, разглядывая меня так, будто я заговорила на языке, которого он не знает, но который его забавляет. — Дорогая, ты даже муху прихлопнуть не можешь. Только истерить умеешь да по углам плакать. Мне досталась в жёны монашка!

Он сказал это буднично, как о погоде.

Он намекал, что Хуана из строгой семьи. Дочь Фердинанда и Изабеллы — великой властительницы, она была воспитана в католической строгости.

И столкнувшись с роскошью бургундского двора, с его передовыми взглядами и вольным обращением, опешила. Запнулась в себе, когда поняла, что муж — ходок налево.

И во мне что-то щёлкнуло.

Не моё. Её. Королевское.

То, что спало глубоко в костях этого молодого, сильного тела. То, что заставляло королеву Кастилии швырять подсвечники в любовниц мужа и кусать подушки до крови.

— Не трогай меня, раз я тебе противна! — сказала я. — Я не безумна, а ты дурак, раз не видишь этого!

Чётко. Холодно. Так, как говорят с провинившимся санитаром в родзале.

Филипп удивился. Приподнял бровь — выщипанную, модную, бургундскую.

— О, у нас сегодня новое представление? — он провёл пальцем по моей ключице, и я дёрнулась, как от ожога. — Не ломайся, Хуана. Я знаю, ты ждала. Ты всегда ждёшь. Счита-

ешь шаги до моей спальни. И минуты, пока я приду к тебе. Тебе сегодня повезло, жена!

Я толкнула его в грудь.

Это было слабо. Тело Хуаны не знало, как бьют по-настоящему, потому что хотело иного. Но сам жест — резкий, отчаянный — заставил его замереть.

И тут же мои руки внезапно обвинили его шею и притянули к себе. Хуана, её тело отчаянно желало этого мужчину.

— Я сказала: не трогай, — промурлыкала я.

На секунду в его глазах мелькнуло что-то живое. Не скука. Не раздражение.

Интерес.

— Ах ты стерва, — протянул он без злобы, скорее с удивлением. — Решила поиграть? Я научу тебя покорности жены перед мужем.

Он перехватил мои запястья, снял мои руки со своей шеи. Легко, будто я не королева, а провинившаяся служанка. И прижал их над моей головой, прижатыми к подушке.

Я выгнулась. Попыталась вырваться. Но получилось так, будто заигрываю.

И что самое дрянное, мне хотелось, чтобы он именно так и думал. Или это мысли Хуаны.

Филипп был тяжелее, сильнее, и от этого осознания внизу живота разлилась гадкая, предательская теплота.

Нет. Нет, только не это.

Или то самое в самый раз?

Одинокие ночи, холодные утра, а тут, жаркое тело самца, желающего свою самку. Он и сам пока не понимает, как будет хотеть меня.

Вот и хорошо.

Но мой пыл сразу охладила мысль: «Как бы чего от него не подцепить. От блудливого кота!»

— Пусти, Фил. Я не в настроении играть в твои похотливые игры, — промурлыкала я ему на ухо. Покусывая мочку. — Иди к своим блудницам.

Фил. Он снова удивился, так его никто не называл.

«Ваше величество, Филипп», — шептали его высокородные шлюхи.

Решено, буду звать его так.

— Ах, не в настроении? — Он наклонился ниже, и его волосы упали мне на лицо — пахли дорогим маслом и конским потом.

Король принялся целовать меня в шею, и я застонала от сладкой него.

— А что же ты тогда делаешь в моей постели, жена?

— Это моя постель. И ты пришёл сюда.

— Потому что должен, — он усмехнулся и провёл носом по моей щеке. — Как и ты должна. Должна терпеть. Должна рожать. Должна любить меня, даже когда я трахаю твоих фрейлин на твоём же гардеробе.

Это было слишком, но он уже раздвинул мне ноги, и вырваться не было сил. Ни душевных, ни физических.

Желание заполонило меня.

Я накажу тебя, дорогой король. Ты будешь искать тела своей супруги.

Но я всё же накажу тебя.

Прямо сейчас тоже. Унижение — что может быть сильнее этого удара?

Твои слова, это было так подло, так намеренно жестоко, что я плюнула.

Прямо в его красивое, холёное лицо. ***

Филипп замер.

На секунду мне показалось — убьёт. Или ударит. Я видела, как в его глазах разгорается ярость — синяя, ледяная, опасная.

Ярость напололам с похотью. Первобытной, жестокой, когда думаешь только о себе. И немного о той, кому желаешь сделать больно.

Но вместо этого он облизал губы.

Медленно. Смакуя.

И улыбнулся.

— Вот это уже интересно, — сказал он, и в голосе не осталось и следа скуки. — Где ты была раньше, Хуана? Где прятала эту дерзость?

Он отпустил мои руки, но я не успела обрадоваться.

Потому что он схватил меня за талию и одним движением перевернул на живот.

Я вскрикнула — от неожиданности, от унижения, от того,

как легко он со мной справляется, будто я тряпичная кукла. И от предвкушения, от той дрожи, что охватило чужое худое, гибкое тело.

Оно помнило его прикосновения, оно желало их. И я тоже.

Красивым, сильным самцам отдаваться приятно. А что мне до обид другой?

Разберусь потом.

У меня давно не было секса, слишком давно. И вот сейчас я отчаянно хотела, чтобы этот мужчина проник в меня грубо, чтобы схватил за волосы и прошептал, как сильно хочет меня отыметь.

— Тихо, — сказал он мне в ухо, прижимая всем телом к перине. Будто подслушал мои мысли. — Ты хотела драться? Давай. Я не против. Мне надоела твоя роль покорной овечки.

Я попыталась вывернуться. Ударить локтем. Да что угодно!

Пусть получит сполна. Меня тоже получит, но вначале я покажу, что надо завоевать женщину. Пусть и таким примитивным первобытным способом. Животной похотью.

И он понял. Четыре года брака просто так не проходят.

Уже задрал мою сорочку выше пояса, и холодный воздух обжёг ягодицы.

— Фил, не смей

— Смотрю и смею, — он провёл ладонью по моей спине, грубо, почти небрежно. — Какая ты горячая, когда злишься.

Знаешь, я уже забыл, каково это — хотеть собственную жену. Ты ли это, Хуана?

Не я. Но это неважно, верно?

Вначале, переступив порог, он не хотел меня. Он хотел власть. Игру. Соппротивление, которое можно сломать.

Но тело Хуаны — молодое, голодное, отчаянно жаждущее даже такой любви — отзывалось на каждое его прикосновение.

Я закусила губу, чтобы не застонать. Чтобы не выдать себя.

Рано. Пусть думает, что я в ужасе от его манер.

— Ненавижу твои измены, — прошептала я в подушку.

— Знаю, — он вошёл резко, без подготовки, и я выгнулась от боли и неожиданности. — Но меня любишь. И это делает тебя такой живой.

Он двигался тяжело, по-хозяйски, и каждая его ласка была как пощёчина, распалывшая ещё больше.

Грубо. Быстро. Без нежности.

Я уже не готова была сдерживаться. Выпустила стоны наружу, начала подмахивать ему бёдрами.

Он заполнил меня всю, и это было чертовски приятно. Я давно не трахалась вот так беззастенчиво, почти с незнакомым мужчиной с сильными, крепкими руками, сжимавшими мою талию.

Вишенка на торте — это мой законный супруг. Человек, которого я люблю, ненавижу и который делает мне чертов-

ски приятно, как никто из тех, кто у меня был раньше.

И между ударами его бёдер, между моими стиснутыми зубами и влажными от злости глазами случилось то, чего я боялась больше всего.

Я больше не могла сдерживать крики страсти.

И кончила под ним на пару секунд раньше, чем почувствовала, как меня наполняет его семя.

Он замедлился. Усмехнулся.

— А вот и моя Хуана, — прошептал он мне на ухо, и в голосе звучало победное. — Та, что плачет, когда я ухожу. Та, что ждёт. Та, что любит. Покорная и всегда жаждущая угодить своему господину.

— Я не люблю тебя, — выдохнула я, сжимая простыни до белых костяшек.

— А это, — он прикусил мне мочку до лёгкой боли, и мир перед глазами, мой новый мир поплыл, — уже не важно.

Откинулся на спину, тяжело дыша, и я почувствовала, как по внутренней стороне бедра течёт что-то тёплое и липкое.

Меня бесстыдно поимел король, и я была бы не прочь однажды это повторить. Мне уже сделалось холодно без его объятий.

Пылкий любовник — то, что нужно, чтобы залечить душевные раны.

«Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Голос Зины. Или моя совесть. Или проклятие.

Я лежала неподвижно рядом, перевернувшись на спину. Смотрела в потолок, на драконов, вырезанных в тёмном дереве.

Филипп повернулся ко мне спиной. Уже скучающий. Уже далёкий.

— Приведи себя в порядок и будь благоразумной, — бросил он через плечо. — Завтра приедет твой отец, король Фердинанд. Не позорь меня и себя. Прими снадобья.

Я ничего не ответила.

Я считала до десяти, как учила себя много лет назад, в другой жизни, когда пациентка умирала на столе, а руки тряслись, но нужно было продолжать.

Раз. Два. Три.

Глаза сухие. Я — Анна. Я — акушерка. Я видела и не такое.

Справлюсь. Или очнусь от этого странного сна.

Четыре. Пять. Шесть.

Я — Хуана. Я — королева. И он заплатит за каждую секунду этого унижения.

Семь. Восемь. Девять.

Он не заметил, как мои пальцы сжались в кулак.

Десять.

Я понесу ребёнка от этой бесстыдной связи.

Я улыбнулась в темноту.

И начала ждать.

Неужели это возможно? После стольких лет ожиданий и

приговора врачей?

Тогда это и будет настоящим чудом!

Глава 3. Смотри на меня!

Он уже поднялся. Натягивал штаны, не глядя на меня. Золотая пряжка брякнула, и этот звук был как пощёчина.

«Уходит. Как всегда. Кончил — и вон».

В другой жизни — в моей, Анниной, питерской, хрущёвской — я бы отвернулась к стене.

Сказала бы: «Иди».

Потому что гордость. Потому что унизительно просить мужчину, который только что назвал тебя покорной овечкой, остаться.

Он же всеми силами показывает, что я для него пустое место! Сосуд для его амбиций!

Но я больше не в Петербурге.

Я в теле королевы, которую хотят объявить сумасшедшей. У которой хотят отнять трон. У которой хотят отнять детей — тех, что уже есть, и тех, что ещё не родились.

А ещё я — женщина, которой десять лет назад сказали: «У вас никогда не будет своих детей, Анна Сергеевна. Бесплодие. Идиопатическое. Мы ничего не можем сделать».

И я верила.

Привыкла. Смирилась.

Но сейчас, когда я чувствовала, как по бедру течёт чужое семя — тёплое, живое, полное возможностей, — во мне просыпалось что-то древнее. Что-то, что сильнее гордости.

Сильнее страха. Сильнее брезгливости, и уж тем более сильнее гордости.

Голос Зины звучал в голове, раззадоривая и бросая вызов: «Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Предаст. Но сначала — родится. Сначала — будет мой.

Мой ребёнок. Пусть даже в чужом теле. Пусть даже с чужим именем, а я уж сумею воспитать его благодарным. Не предателем, не таким, как его самодовольный отец.

— Фил, — позвала я, стараясь вложить в голос как можно больше страсти.

Он замер у двери. Обернулся. В глазах — усталое раздражение.

— Что тебе ещё?

— Остайся со мной. Выпьем, поболтаем, не чужие же люди! А там, может, я сумею предложить тебе и кое-что ещё!

Он усмехнулся. Не поверил, решил, что я капризничаю.

Я специально легонько похлопала себя по бедру, покрытому тонкой тканью сорочки.

Сейчас бы подмыться не мешало, но пока я буду туалетом заниматься, муж сбежит.

А мне он нужен не только как пылкий любовник, но и как источник новых знаний.

На одну память Хуаны надежды нет: вдруг, она и вправду безумна, как о ней писали?

— Только что ты брыкалась как норовистая кобыла. И

плевалась. А теперь «останься»? — он покачал головой. — У тебя точно горячка, Хуана. Я пришлю лекаря.

Он уже взялся за ручку двери. Ещё секунда — и уйдёт. К любовнице. К вину. К своим бургундским интригам.

— Я хочу от тебя сына, — сказала я.

Знаю куда бить! Где его ахиллесова пята!

Не попросила. Не взмолилась. Сказала — как констатируют факт.

Филипп обернулся и посмотрел с подозрением, с прищуром, как он обычно смотрел на своих слишком ретивых министров:

— У нас уже есть две дочери. Ты говорила, что не хочешь больше проходить через родовые муки. Чего же тебе ещё? Что за игру ты затеяла?!

— Мне нужен сын, королевству нужен сын. Тебе нужен сын! — Я села на постели, не стесняясь наготы. Сорочка сползла с плеча, и я не стала её поправлять.

— Тебе нужен наследник. И наш долг перед народом, перед моим отцом и покойной королевой Изабеллой, моей матерью, зачать его.

Он сузил глаза. Красивое лицо стало хищным.

— Ты никогда не интересовалась политикой. Только молитвами и постами.

Хуана была набожной католичкой, шокированной разгулем и красками бургундского двора, который так и не стал для бедняги домом.

— Сегодня заинтересовалась, — я смотрела на него в упор. Свет свечей плясал на его золотых волосах, на скулах, на влажных ещё губах.

И я почувствовала возбуждение, тяжесть внизу живота.

— Останься, Фил. Сделай мне сына. Прямо сейчас.

— Фил, — он повторил, словно пробуя на вкус. — Странное имя.

— Тебе нравится, — я улыбнулась. Не широко. Только уголками губ. — Я вижу.

Он сделал шаг назад. К кровати. Не ко мне — к кровати. Но это уже было победой.

— Ты никогда не просила меня остаться, — сказал он медленно. — Даже когда была нежна. Только терпела. Или плакала. А сейчас — он склонил голову, разглядывая меня как диковинную вещь. — Что с тобой, женщина?

— Я просто твоя жена, — я откинулась на подушки и развела колени.

Медленно. Нарочито. Как те девушки из порно, которые знают, что мужчины ведутся на откровенность.

— Которая хочет родить тебе наследника. Разве этого недостаточно для удачного брака?

Он стоял. Смотрел на мои разведённые бёдра. На влажную дорожку, стекающую по внутренней стороне.

Я видела, как поднимается его грудь. Как расширяются зрачки.

Бедняга шокирован моей развратностью.

— Ты играешь в опасную игру, Хуана, — сказал он глухо.

— Я не играю, — ответила я. — Я хочу ребёнка. А ты хочешь меня. И в итоге сына от меня.

Он сорвал с себя штаны. Не застегнул, не положил аккуратно — сорвал, с треском ткани.

Я невольно сглотнула. Он уже стоял. Полностью. Красиво. Опасно.

— Смотри на меня, — приказал он, падая на кровать и нависая сверху. — Когда я буду входить — смотри.

— Я и смотрю.

Он вошёл резко. Я не была готова — не так, как в первый раз. Но боль смешалась с чем-то другим, и я застонала. Не от унижения. От удовольствия.

Всё-таки есть у женщины тайная власть делать вид, что тебя берут силой, и получать от этого выгоду. Даже сиюминутную в виду власти над телом мужчины.

— Громче, — прошептал он, вжимая меня в перину. — Пусть все слышат, что королева не святая. Что она хочет своего мужа.

Я обхватила его ногами за талию. Сильно. Так, что он удивился.

— Не только хочу, — выдохнула я ему в рот. — Я заставлю тебя хотеть меня. Каждую ночь. Пока не сделаешь мне дюжину сыновей.

— Дюжину? — он рассмеялся, но смех тут же перешёл в рык, потому что я сжала его внутри. Сознательно. Теми

мышцами, которые акушер знает лучше любой куртизанки.
— Чёрт, Хуана что ты делаешь?

— Запоминаю, — я провела ногтями по его спине, оставляя красные полосы. — Каждое твоё движение. Каждый твой вздох. Чтобы потом, когда ты будешь в постели с другой, вспоминать и знать — она не умеет так, как я.

Он задвигался быстрее. Грубее. Яростнее.

— Ревнуешь?

Выдохнул мне в лицо.

— Я подсчитываю, — я прикусила его плечо, и он зарычал. — Сколько раз тебе придёшь ко мне, чтобы я зачала. Сколько ночей ты будешь моим. Только моим.

Стонала и почти выкрикивала эти слова — смесь моей игры страсти и её тайных страхов.

— Ты безумна, — выдохнул он, но в голосе не было насмешки. Только хриплое, животное восхищение.

— Возможно, — я перевернула его.

Сама. Рывком, от которого он опешил. Теперь я была сверху, и мои волосы упали на его лицо.

— Но ты кончишь в меня. Снова. И снова. Пока я не скажу «хватит».

Он попытался перехватить инициативу — дёрнулся, чтобы перевернуть меня обратно.

Но я прижала его запястья к подушке. Тем же жестом, которым он умирал меня час назад.

Постель превратилась в поле битвы, и я надеялась выиг-

рать.

— Нет, Фил. Сейчас я командую.

Он замер. Смотрел на меня снизу вверх — и в его глазах было что-то новое. Не страх. Не гнев.

Любопытство. И желание. Настоящее, острое, почти болезненное.

— Ты не моя жена, — прошептал он. — Ты одержима.

— Я мать твоих детей, — ответила я и начала двигаться. Медленно. Глубоко. — Я твоя любящая и покорная жена. Твоя королева.

Каждое движение — рассчитанное, точное, как в лучших родах, когда надо помочь ребёнку выйти. Только сейчас я помогала ему войти.

Как можно глубже. Как можно полнее.

Он застонал. Пальцами вцепился в мои бёдра — до синяков.

— Ещё, — прошептал он.

— Скажи «пожалуйста».

— Что?

— Скажи «пожалуйста, Хуана». Или я остановлюсь.

Я действительно остановилась. Замерла, чувствуя, как он пульсирует внутри.

Филипп Красивый, герцог Бургундский, будущий король Кастилии, Наварры и всех моих владений, смотрел на меня с ненавистью и вожделением.

— Ты заплатишь за это, — прошипел он.

— Завтра. А сегодня — скажи.

Он молчал. Я ждала. Свечи трещали. Где-то за стеной всхлипнула фрейлина.

— Пожалуйста, — выдохнул он. — Пожалуйста, Хуана.

Я улыбнулась. И двинулась.

Быстро. Жёстко. Без жалости.

Он кончил через минуту — и я почувствовала это каждой клеткой чужого тела.

Тепло разлилось внутри, и в тот же миг я поняла: да. Сейчас. Именно в эту секунду что-то случилось.

Яйцеклетка вышла. Сперматозоиды двинулись навстречу. Я — акушерка с двадцатипятилетним стажем — знала это не по учебникам. Я чувствовала, а может, хотела почувствовать.

Наконец-то испытать, каково это: быть в миге зачатия новой жизни. Или надеяться на это.

Моё чужое тело понесло. И пусть кто-то бы сказал, что это игра воображения, я испытала такое счастье, с каким не сравнится даже материнская ласка, полученная в детстве.

Потому что давать жизнь, любовь, тепло слаще, чем принимать.

Я сползла с него, тяжело дыша.

Филипп лежал с закрытыми глазами, и впервые за этот вечер на его лице не было ни насмешки, ни скуки. Только изнеможение.

— Ты не выйдешь, — сказала я, подтыкая под себя по-

душку. Классическая поза — бёдра выше, чтобы семя не вытекло. — Я скажу, когда можно уйти.

Он открыл глаза. Посмотрел на меня — и вдруг усмехнулся. Дружелюбно почти.

— Ты как-то изменилась, Хуана.

— Я проснулась, — ответила я. — Иди спать, Фил. Завтра будет новый день. И новая ночь, когда мы будем делать сына. Или просто любить друг друга.

Он не ушёл.

Лёг рядом. Через минуту засопел — заснул, уставший и сытый.

Я лежала с подушкой под бёдрами и считала. Не до десяти. До девяти месяцев.

«Ты теперь мать, которую предаст её сын».

Это мы ещё посмотрим! До того времени много воды утечёт. Да и останусь ли я здесь так надолго?

Здесь ли я вообще, или это моё воображение, истёрзанное муками бесплодия, собственной немощи, вдруг потянуло меня в безумие?

Пусть будет сын.

Пусть захочет предать. Но сначала я его рожу. Выкормлю. Выращу.

А потом посмотрим.

Я положила руку на низ живота. Там, внутри, только что началась жизнь.

Моя жизнь. Наконец-то.

И никто — ни Филипп, ни Фердинанд, ни вся католическая церковь или даже прежняя Хуана — не отнимет у меня этого ребёнка.

Я поклялась в этом себе. В темноте. Под храп спящего короля. Или эрцгерцога, коим он был на самом деле. Но любил строить и себя короля.

Раз женился на королеве!

И впервые за много лет я заснула с улыбкой.

«Уходит. Как всегда. Кончил — и вон».

В другой жизни — в моей, Анниной, питерской, хрущёвской — я бы отвернулась к стене.

Сказала бы: «Иди».

Потому что гордость. Потому что унизительно просить мужчину, который только что назвал тебя покорной овечкой, остаться.

Он же всеми силами показывает, что я для него пустое место! Сосуд для его амбиций!

Но я больше не в Петербурге.

Я в теле королевы, которую хотят объявить сумасшедшей. У которой хотят отнять трон. У которой хотят отнять детей — тех, что уже есть, и тех, что ещё не родились.

А ещё я — женщина, которой десять лет назад сказали: «У вас никогда не будет своих детей, Анна Сергеевна. Бесплодие. Идиопатическое. Мы ничего не можем сделать».

И я верила.

Привыкла. Смирилась.

Но сейчас, когда я чувствовала, как по бедру течёт чужое семя — тёплое, живое, полное возможностей, — во мне просыпалось что-то древнее. Что-то, что сильнее гордости.

Сильнее страха. Сильнее брезгливости, и уж тем более сильнее гордости.

Голос Зины звучал в голове, раззадоривая и бросая вызов: «Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Предаст. Но сначала — родится. Сначала — будет мой.

Мой ребёнок. Пусть даже в чужом теле. Пусть даже с чужим именем, а я уж сумею воспитать его благодарным. Не предателем, не таким, как его самодовольный отец.

— Фил, — позвала я, стараясь вложить в голос как можно больше страсти.

Он замер у двери. Обернулся. В глазах — усталое раздражение.

— Что тебе ещё?

— Остайся со мной. Выпьем, поболтаем, не чужие же люди! А там, может, я сумею предложить тебе и кое-что ещё!

Он усмехнулся. Не поверил, решил, что я капризничаю.

Я специально легонько похлопала себя по бедру, покрытому тонкой тканью сорочки.

Сейчас бы подмыться не мешало, но пока я буду туалетом заниматься, муж сбежит.

А мне он нужен не только как пылкий любовник, но и как

источник новых знаний.

На одну память Хуаны надежды нет: вдруг, она и вправду безумна, как о ней писали?

— Только что ты брыкалась как норовистая кобыла. И плевалась. А теперь «останься»? — он покачал головой. — У тебя точно горячка, Хуана. Я пришлю лекаря.

Он уже взялся за ручку двери. Ещё секунда — и уйдёт. К любовнице. К вину. К своим бургундским интригам.

— Я хочу от тебя сына, — сказала я.

Знаю куда бить! Где его ахиллесова пята!

Не попросила. Не взмолилась. Сказала — как констатируют факт.

Филипп обернулся и посмотрел с подозрением, с прищуром, как он обычно смотрел на своих слишком ретивых министров:

— У нас уже есть две дочери. Ты говорила, что не хочешь больше проходить через родовые муки. Чего же тебе ещё? Что за игру ты затеяла?!

— Мне нужен сын, королевству нужен сын. Тебе нужен сын! — Я села на постели, не стесняясь наготы. Сорочка сползла с плеча, и я не стала её поправлять.

— Тебе нужен наследник. И наш долг перед народом, перед моим отцом и покойной королевой Изабеллой, моей матерью, зачать его.

Он сузил глаза. Красивое лицо стало хищным.

— Ты никогда не интересовалась политикой. Только мо-

литвами и постами.

Хуана была набожной католичкой, шокированной разгульем и красками бургундского двора, который так и не стал для бедняги домом.

— Сегодня заинтересовалась, — я смотрела на него в упор. Свет свечей плясал на его золотых волосах, на скулах, на влажных ещё губах.

И я почувствовала возбуждение, тяжесть внизу живота.

— Останься, Фил. Сделай мне сына. Прямо сейчас.

— Фил, — он повторил, словно пробуя на вкус. — Странное имя.

— Тебе нравится, — я улыбнулась. Не широко. Только уголками губ. — Я вижу.

Он сделал шаг назад. К кровати. Не ко мне — к кровати. Но это уже было победой.

— Ты никогда не просила меня остаться, — сказал он медленно. — Даже когда была нежна. Только терпела. Или плакала. А сейчас — он склонил голову, разглядывая меня как диковинную вещь. — Что с тобой, женщина?

— Я просто твоя жена, — я откинулась на подушки и развела колени.

Медленно. Нарочито. Как те девушки из порно, которые знают, что мужчины ведутся на откровенность.

— Которая хочет родить тебе наследника. Разве этого недостаточно для удачного брака?

Он стоял. Смотрел на мои разведённые бёдра. На влаж-

ную дорожку, стекающую по внутренней стороне.

Я видела, как поднимается его грудь. Как расширяются зрачки.

Бедняга шокирован моей развратностью.

— Ты играешь в опасную игру, Хуана, — сказал он глухо.

— Я не играю, — ответила я. — Я хочу ребёнка. А ты хочешь меня. И в итоге сына от меня.

Он сорвал с себя штаны. Не застегнул, не положил аккуратно — сорвал, с треском ткани.

Я невольно сглотнула. Он уже стоял. Полностью. Красиво. Опасно.

— Смотри на меня, — приказал он, падая на кровать и нависая сверху. — Когда я буду входить — смотри.

— Я и смотрю.

Он вошёл резко. Я не была готова — не так, как в первый раз. Но боль смешалась с чем-то другим, и я застонала. Не от унижения. От удовольствия.

Всё-таки есть у женщины тайная власть делать вид, что тебя берут силой, и получать от этого выгоду. Даже сиюминутную в виду власти над телом мужчины.

— Громче, — прошептал он, вжимая меня в перину. — Пусть все слышат, что королева не святая. Что она хочет своего мужа.

Я обхватила его ногами за талию. Сильно. Так, что он удивился.

— Не только хочу, — выдохнула я ему в рот. — Я застав-

лю тебя хотеть меня. Каждую ночь. Пока не сделаешь мне дюжину сыновей.

— Дюжину? — он рассмеялся, но смех тут же перешёл в рык, потому что я сжала его внутри. Сознательно. Теми мышцами, которые акушер знает лучше любой куртизанки. — Чёрт, Хуана что ты делаешь?

— Запоминаю, — я провела ногтями по его спине, оставляя красные полосы. — Каждое твоё движение. Каждый твой вздох. Чтобы потом, когда ты будешь в постели с другой, вспоминать и знать — она не умеет так, как я.

Он задвигался быстрее. Грубее. Яростнее.

— Ревнуешь?

Выдохнул мне в лицо.

— Я подсчитываю, — я прикусила его плечо, и он зарычал. — Сколько раз тебе придёшь ко мне, чтобы я зачала. Сколько ночей ты будешь моим. Только моим.

Стонала и почти выкрикивала эти слова — смесь моей игры страсти и её тайных страхов.

— Ты безумна, — выдохнул он, но в голосе не было насмешки. Только хриплое, животное восхищение.

— Возможно, — я перевернула его.

Сама. Рывком, от которого он опешил. Теперь я была сверху, и мои волосы упали на его лицо.

— Но ты кончишь в меня. Снова. И снова. Пока я не скажу «хватит».

Он попытался перехватить инициативу — дёрнулся, что-

бы перевернуть меня обратно.

Но я прижала его запястья к подушке. Тем же жестом, которым он умирал меня час назад.

Постель превратилась в поле битвы, и я надеялась выиграть.

— Нет, Фил. Сейчас я командую.

Он замер. Смотрел на меня снизу вверх — и в его глазах было что-то новое. Не страх. Не гнев.

Любопытство. И желание. Настоящее, острое, почти болезненное.

— Ты не моя жена, — прошептал он. — Ты одержима.

— Я мать твоих детей, — ответила я и начала двигаться. Медленно. Глубоко. — Я твоя любящая и покорная жена. Твоя королева.

Каждое движение — рассчитанное, точное, как в лучших родах, когда надо помочь ребёнку выйти. Только сейчас я помогала ему войти.

Как можно глубже. Как можно полнее.

Он застонал. Пальцами вцепился в мои бёдра — до синяков.

— Ещё, — прошептал он.

— Скажи «пожалуйста».

— Что?

— Скажи «пожалуйста, Хуана». Или я остановлюсь.

Я действительно остановилась. Замерла, чувствуя, как он пульсирует внутри.

Филипп Красивый, герцог Бургундский, будущий король Кастилии, Наварры и всех моих владений, смотрел на меня с ненавистью и вождедением.

— Ты заплатишь за это, — прошипел он.

— Завтра. А сегодня — скажи.

Он молчал. Я ждала. Свечи трещали. Где-то за стеной всхлипнула фрейлина.

— Пожалуйста, — выдохнул он. — Пожалуйста, Хуана.

Я улыбнулась. И двинулась.

Быстро. Жёстко. Без жалости.

Он кончил через минуту — и я почувствовала это каждой клеткой чужого тела.

Тепло разлилось внутри, и в тот же миг я поняла: да. Сейчас. Именно в эту секунду что-то случилось.

Яйцеклетка вышла. Сперматозоиды двинулись навстречу. Я — акушерка с двадцатипятилетним стажем — знала это не по учебникам. Я чувствовала, а может, хотела почувствовать.

Наконец-то испытать, каково это: быть в миге зачатия новой жизни. Или надеяться на это.

Моё чужое тело понесло. И пусть кто-то бы сказал, что это игра воображения, я испытала такое счастье, с каким не сравнится даже материнская ласка, полученная в детстве.

Потому что давать жизнь, любовь, тепло слаще, чем принимать.

Я сползла с него, тяжело дыша.

Филипп лежал с закрытыми глазами, и впервые за этот вечер на его лице не было ни насмешки, ни скуки. Только изнеможение.

— Ты не выйдешь, — сказала я, подтыкая под себя подушку. Классическая поза — бёдра выше, чтобы семя не вытекло. — Я скажу, когда можно уйти.

Он открыл глаза. Посмотрел на меня — и вдруг усмехнулся. Дружелюбно почти.

— Ты как-то изменилась, Хуана.

— Я проснулась, — ответила я. — Иди спать, Фил. Завтра будет новый день. И новая ночь, когда мы будем делать сына. Или просто любить друг друга.

Он не ушёл.

Лёг рядом. Через минуту засопел — заснул, уставший и сытый.

Я лежала с подушкой под бёдрами и считала. Не до десяти. До девяти месяцев.

«Ты теперь мать, которую предаст её сын».

Это мы ещё посмотрим! До того времени много воды утечёт. Да и останусь ли я здесь так надолго?

Здесь ли я вообще, или это моё воображение, истёрзанное муками бесплодия, собственной немощи, вдруг потянуло меня в безумие?

Пусть будет сын.

Пусть захочет предать. Но сначала я его рожу. Выкормлю. Выращу.

А потом посмотрим.

Я положила руку на низ живота. Там, внутри, только что началась жизнь.

Моя жизнь. Наконец-то.

И никто — ни Филипп, ни Фердинанд, ни вся католическая церковь или даже прежняя Хуана — не отнимет у меня этого ребёнка.

Я поклялась в этом себе. В темноте. Под храп спящего короля. Или эрцгерцога, коим он был на самом деле. Но любил строить и себя короля.

Раз женился на королеве!

И впервые за много лет я заснула с улыбкой.

«Уходит. Как всегда. Кончил — и вон».

В другой жизни — в моей, Анниной, питерской, хрущёвской — я бы отвернулась к стене.

Сказала бы: «Иди».

Потому что гордость. Потому что унизительно просить мужчину, который только что назвал тебя покорной овечкой, остаться.

Он же всеми силами показывает, что я для него пустое место! Сосуд для его амбиций!

Но я больше не в Петербурге.

Я в теле королевы, которую хотят объявить сумасшедшей. У которой хотят отнять трон. У которой хотят отнять детей — тех, что уже есть, и тех, что ещё не родились.

А ещё я — женщина, которой десять лет назад сказали: «У вас никогда не будет своих детей, Анна Сергеевна. Бесплодие. Идиопатическое. Мы ничего не можем сделать».

И я верила.

Привыкла. Смирилась.

Но сейчас, когда я чувствовала, как по бедру течёт чужое семя — тёплое, живое, полное возможностей, — во мне просыпалось что-то древнее. Что-то, что сильнее гордости.

Сильнее страха. Сильнее брезгливости, и уж тем более сильнее гордости.

Голос Зины звучал в голове, раззадоривая и бросая вызов: «Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Предаст. Но сначала — родится. Сначала — будет мой.

Мой ребёнок. Пусть даже в чужом теле. Пусть даже с чужим именем, а я уж сумею воспитать его благодарным. Не предателем, не таким, как его самодовольный отец.

— Фил, — позвала я, стараясь вложить в голос как можно больше страсти.

Он замер у двери. Обернулся. В глазах — усталое раздражение.

— Что тебе ещё?

— Останься со мной. Выпьем, поболтаем, не чужие же люди! А там, может, я сумею предложить тебе и кое-что ещё!

Он усмехнулся. Не поверил, решил, что я капризничаю.

Я специально легонько похлопала себя по бедру, покры-

тому тонкой тканью сорочки.

Сейчас бы подмыться не мешало, но пока я буду туалетом заниматься, муж сбежит.

А мне он нужен не только как пылкий любовник, но и как источник новых знаний.

На одну память Хуаны надежды нет: вдруг, она и вправду безумна, как о ней писали?

— Только что ты брыкалась как норовистая кобыла. И плевалась. А теперь «останься»? — он покачал головой. — У тебя точно горячка, Хуана. Я пришлю лекаря.

Он уже взялся за ручку двери. Ещё секунда — и уйдёт. К любовнице. К вину. К своим бургундским интригам.

— Я хочу от тебя сына, — сказала я.

Знаю куда бить! Где его ахиллесова пята!

Не попросила. Не взмолилась. Сказала — как констатируют факт.

Филипп обернулся и посмотрел с подозрением, с прищуром, как он обычно смотрел на своих слишком ретивых министров:

— У нас уже есть две дочери. Ты говорила, что не хочешь больше проходить через родовые муки. Чего же тебе ещё? Что за игру ты затеяла?!

— Мне нужен сын, королевству нужен сын. Тебе нужен сын! — Я села на постели, не стесняясь наготы. Сорочка сползла с плеча, и я не стала её поправлять.

— Тебе нужен наследник. И наш долг перед народом, пе-

ред моим отцом и покойной королевой Изабеллой, моей матерью, зачать его.

Он сузил глаза. Красивое лицо стало хищным.

— Ты никогда не интересовалась политикой. Только молитвами и постами.

Хуана была набожной католичкой, шокированной разгулем и красками бургундского двора, который так и не стал для бедняги домом.

— Сегодня заинтересовалась, — я смотрела на него в упор. Свет свечей плясал на его золотых волосах, на скулах, на влажных ещё губах.

И я почувствовала возбуждение, тяжесть внизу живота.

— Останься, Фил. Сделай мне сына. Прямо сейчас.

— Фил, — он повторил, словно пробуя на вкус. — Странное имя.

— Тебе нравится, — я улыбнулась. Не широко. Только уголками губ. — Я вижу.

Он сделал шаг назад. К кровати. Не ко мне — к кровати. Но это уже было победой.

— Ты никогда не просила меня остаться, — сказал он медленно. — Даже когда была нежна. Только терпела. Или плакала. А сейчас — он склонил голову, разглядывая меня как диковинную вещь. — Что с тобой, женщина?

— Я просто твоя жена, — я откинулась на подушки и развела колени.

Медленно. Нарочито. Как те девушки из порно, которые

знают, что мужчины ведутся на откровенность.

— Которая хочет родить тебе наследника. Разве этого недостаточно для удачного брака?

Он стоял. Смотрел на мои разведённые бёдра. На влажную дорожку, стекающую по внутренней стороне.

Я видела, как поднимается его грудь. Как расширяются зрачки.

Бедняга шокирован моей развратностью.

— Ты играешь в опасную игру, Хуана, — сказал он глухо.

— Я не играю, — ответила я. — Я хочу ребёнка. А ты хочешь меня. И в итоге сына от меня.

Он сорвал с себя штаны. Не застегнул, не положил аккуратно — сорвал, с треском ткани.

Я невольно сглотнула. Он уже стоял. Полностью. Красиво. Опасно.

— Смотри на меня, — приказал он, падая на кровать и нависая сверху. — Когда я буду входить — смотри.

— Я и смотрю.

Он вошёл резко. Я не была готова — не так, как в первый раз. Но боль смешалась с чем-то другим, и я застонала. Не от унижения. От удовольствия.

Всё-таки есть у женщины тайная власть делать вид, что тебя берут силой, и получать от этого выгоду. Даже сиюминутную в виду власти над телом мужчины.

— Громче, — прошептал он, вжимая меня в перину. — Пусть все слышат, что королева не святая. Что она хочет сво-

его мужа.

Я обхватила его ногами за талию. Сильно. Так, что он удивился.

— Не только хочу, — выдохнула я ему в рот. — Я заставлю тебя хотеть меня. Каждую ночь. Пока не сделаешь мне дюжину сыновей.

— Дюжину? — он рассмеялся, но смех тут же перешёл в рык, потому что я сжала его внутри. Сознательно. Теми мышцами, которые акушер знает лучше любой куртизанки. — Чёрт, Хуана что ты делаешь?

— Запоминаю, — я провела ногтями по его спине, оставляя красные полосы. — Каждое твоё движение. Каждый твой вздох. Чтобы потом, когда ты будешь в постели с другой, вспоминать и знать — она не умеет так, как я.

Он задвигался быстрее. Грубее. Яростнее.

— Ревнуешь?

Выдохнул мне в лицо.

— Я подсчитываю, — я прикусила его плечо, и он зарычал. — Сколько раз тебе придёшь ко мне, чтобы я зачала. Сколько ночей ты будешь моим. Только моим.

Стонала и почти выкрикивала эти слова — смесь моей игры страсти и её тайных страхов.

— Ты безумна, — выдохнул он, но в голосе не было насмешки. Только хриплое, животное восхищение.

— Возможно, — я перевернула его.

Сама. Рывком, от которого он опешил. Теперь я была

сверху, и мои волосы упали на его лицо.

— Но ты кончишь в меня. Снова. И снова. Пока я не скажу «хватит».

Он попытался перехватить инициативу — дёрнулся, чтобы перевернуть меня обратно.

Но я прижала его запястья к подушке. Тем же жестом, которым он умирал меня час назад.

Постель превратилась в поле битвы, и я надеялась выиграть.

— Нет, Фил. Сейчас я командую.

Он замер. Смотрел на меня снизу вверх — и в его глазах было что-то новое. Не страх. Не гнев.

Любопытство. И желание. Настоящее, острое, почти болезненное.

— Ты не моя жена, — прошептал он. — Ты одержима.

— Я мать твоих детей, — ответила я и начала двигаться. Медленно. Глубоко. — Я твоя любящая и покорная жена. Твоя королева.

Каждое движение — рассчитанное, точное, как в лучших родах, когда надо помочь ребёнку выйти. Только сейчас я помогала ему войти.

Как можно глубже. Как можно полнее.

Он застонал. Пальцами вцепился в мои бёдра — до синяков.

— Ещё, — прошептал он.

— Скажи «пожалуйста».

— Что?

— Скажи «пожалуйста, Хуана». Или я остановлюсь.

Я действительно остановилась. Замерла, чувствуя, как он пульсирует внутри.

Филипп Красивый, герцог Бургундский, будущий король Кастилии, Наварры и всех моих владений, смотрел на меня с ненавистью и вождедением.

— Ты заплатишь за это, — прошипел он.

— Завтра. А сегодня — скажи.

Он молчал. Я ждала. Свечи трещали. Где-то за стеной всхлипнула фрейлина.

— Пожалуйста, — выдохнул он. — Пожалуйста, Хуана.

Я улыбнулась. И двинулась.

Быстро. Жёстко. Без жалости.

Он кончил через минуту — и я почувствовала это каждой клеткой чужого тела.

Тепло разлилось внутри, и в тот же миг я поняла: да. Сейчас. Именно в эту секунду что-то случилось.

Яйцеклетка вышла. Сперматозоиды двинулись навстречу. Я — акушерка с двадцатипятилетним стажем — знала это не по учебникам. Я чувствовала, а может, хотела почувствовать.

Наконец-то испытать, каково это: быть в миге зачатия новой жизни. Или надеяться на это.

Моё чужое тело понесло. И пусть кто-то бы сказал, что это игра воображения, я испытала такое счастье, с каким не

сравнится даже материнская ласка, полученная в детстве.

Потому что давать жизнь, любовь, тепло слаще, чем принимать.

Я сползла с него, тяжело дыша.

Филипп лежал с закрытыми глазами, и впервые за этот вечер на его лице не было ни насмешки, ни скуки. Только изнеможение.

— Ты не выйдешь, — сказала я, подтыкая под себя подушку. Классическая поза — бёдра выше, чтобы семя не вытекло. — Я скажу, когда можно уйти.

Он открыл глаза. Посмотрел на меня — и вдруг усмехнулся. Дружелюбно почти.

— Ты как-то изменилась, Хуана.

— Я проснулась, — ответила я. — Иди спать, Фил. Завтра будет новый день. И новая ночь, когда мы будем делать сына. Или просто любить друг друга.

Он не ушёл.

Лёг рядом. Через минуту засопел — заснул, уставший и сытый.

Я лежала с подушкой под бёдрами и считала. Не до десяти. До девяти месяцев.

«Ты теперь мать, которую предаст её сын».

Это мы ещё посмотрим! До того времени много воды утечёт. Да и останусь ли я здесь так надолго?

Здесь ли я вообще, или это моё воображение, истёрзанное муками бесплодия, собственной немощи, вдруг потяну-

ло меня в безумие?

Пусть будет сын.

Пусть захочет предать. Но сначала я его рожу. Выкормлю. Выращу.

А потом посмотрим.

Я положила руку на низ живота. Там, внутри, только что началась жизнь.

Моя жизнь. Наконец-то.

И никто — ни Филипп, ни Фердинанд, ни вся католическая церковь или даже прежняя Хуана — не отнимет у меня этого ребёнка.

Я поклялась в этом себе. В темноте. Под храп спящего короля. Или эрцгерцога, коим он был на самом деле. Но любил строить и себя короля.

Раз женился на королеве!

И впервые за много лет я заснула с улыбкой.

«Уходит. Как всегда. Кончил — и вон».

В другой жизни — в моей, Анниной, питерской, хрущёвской — я бы отвернулась к стене.

Сказала бы: «Иди».

Потому что гордость. Потому что унизительно просить мужчину, который только что назвал тебя покорной овечкой, остаться.

Он же всеми силами показывает, что я для него пустое место! Сосуд для его амбиций!

Но я больше не в Петербурге.

Я в теле королевы, которую хотят объявить сумасшедшей. У которой хотят отнять трон. У которой хотят отнять детей — тех, что уже есть, и тех, что ещё не родились.

А ещё я — женщина, которой десять лет назад сказали. «У вас никогда не будет своих детей, Анна Сергеевна. Бесплодие. Идиопатическое. Мы ничего не можем сделать».

И я верила.

Привыкла. Смирилась.

Но сейчас, когда я чувствовала, как по бедру течёт чужое семя — тёплое, живое, полное возможностей, — во мне просыпалось что-то древнее. Что-то, что сильнее гордости.

Сильнее страха. Сильнее брезгливости, и уж тем более сильнее гордости.

Голос Зины звучал в голове, раззадоривая и бросая вызов: «Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Предаст. Но сначала — родится. Сначала — будет мой.

Мой ребёнок. Пусть даже в чужом теле. Пусть даже с чужим именем, а я уж сумею воспитать его благодарным. Не предателем, не таким, как его самодовольный отец.

— Фил, — позвала я, стараясь вложить в голос как можно больше страсти.

Он замер у двери. Обернулся. В глазах — усталое раздражение.

— Что тебе ещё?

— Останься со мной. Выпьем, поболтаем, не чужие же люди! А там, может, я сумею предложить тебе и кое-что ещё!

Он усмехнулся. Не поверил, решил, что я капризничаю.

Я специально легонько похлопала себя по бедру, покрытому тонкой тканью сорочки.

Сейчас бы подмыться не мешало, но пока я буду туалетом заниматься, муж сбежит.

А мне он нужен не только как пылкий любовник, но и как источник новых знаний.

На одну память Хуаны надежды нет: вдруг, она и вправду безумна, как о ней писали?

— Только что ты брыкалась как норовистая кобыла. И плевалась. А теперь «останься»? — он покачал головой. — У тебя точно горячка, Хуана. Я пришлю лекаря.

Он уже взялся за ручку двери. Ещё секунда — и уйдёт. К любовнице. К вину. К своим бургундским интригам.

— Я хочу от тебя сына, — сказала я.

Знаю куда бить! Где его ахиллесова пята!

Не попросила. Не взмолилась. Сказала — как констатируют факт.

Филипп обернулся и посмотрел с подозрением, с прищуром, как он обычно смотрел на своих слишком ретивых министров:

— У нас уже есть две дочери. Ты говорила, что не хочешь больше проходить через родовые муки. Чего же тебе ещё? Что за игру ты затеяла?!

— Мне нужен сын, королевству нужен сын. Тебе нужен сын! — Я села на постели, не стесняясь наготы. Сорочка сползла с плеча, и я не стала её поправлять.

— Тебе нужен наследник. И наш долг перед народом, перед моим отцом и покойной королевой Изабеллой, моей матерью, зачать его.

Он сузил глаза. Красивое лицо стало хищным.

— Ты никогда не интересовалась политикой. Только молитвами и постами.

Хуана была набожной католичкой, шокированной разгульем и красками бургундского двора, который так и не стал для бедняги домом.

— Сегодня заинтересовалась, — я смотрела на него в упор. Свет свечей плясал на его золотых волосах, на скулах, на влажных ещё губах.

И я почувствовала возбуждение, тяжесть внизу живота.

— Останься, Фил. Сделай мне сына. Прямо сейчас.

— Фил, — он повторил, словно пробуя на вкус. — Странное имя.

— Тебе нравится, — я улыбнулась. Не широко. Только уголками губ. — Я вижу.

Он сделал шаг назад. К кровати. Не ко мне — к кровати. Но это уже было победой.

— Ты никогда не просила меня остаться, — сказал он медленно. — Даже когда была нежна. Только терпела. Или плакала. А сейчас — он склонил голову, разглядывая меня как

диковинную вещь. — Что с тобой, женщина?

— Я просто твоя жена, — я откинулась на подушки и развела колени.

Медленно. Нарочито. Как те девушки из порно, которые знают, что мужчины ведутся на откровенность.

— Которая хочет родить тебе наследника. Разве этого недостаточно для удачного брака?

Он стоял. Смотрел на мои разведённые бёдра. На влажную дорожку, стекающую по внутренней стороне.

Я видела, как поднимается его грудь. Как расширяются зрачки.

Бедняга шокирован моей развратностью.

— Ты играешь в опасную игру, Хуана, — сказал он глухо.

— Я не играю, — ответила я. — Я хочу ребёнка. А ты хочешь меня. И в итоге сына от меня.

Он сорвал с себя штаны. Не застегнул, не положил аккуратно — сорвал, с треском ткани.

Я невольно сглотнула. Он уже стоял. Полностью. Красиво. Опасно.

— Смотри на меня, — приказал он, падая на кровать и нависая сверху. — Когда я буду входить — смотри.

— Я и смотрю.

Он вошёл резко. Я не была готова — не так, как в первый раз. Но боль смешалась с чем-то другим, и я застонала. Не от унижения. От удовольствия.

Всё-таки есть у женщины тайная власть делать вид, что

тебя берут силой, и получать от этого выгоду. Даже сиюминутную в виду власти над телом мужчины.

— Громче, — прошептал он, вжимая меня в перину. — Пусть все слышат, что королева не святая. Что она хочет своего мужа.

Я обхватила его ногами за талию. Сильно. Так, что он удивился.

— Не только хочу, — выдохнула я ему в рот. — Я заставлю тебя хотеть меня. Каждую ночь. Пока не сделаешь мне дюжину сыновей.

— Дюжину? — он рассмеялся, но смех тут же перешёл в рык, потому что я сжала его внутри. Сознательно. Теми мышцами, которые акушер знает лучше любой куртизанки. — Чёрт, Хуана что ты делаешь?

— Запоминаю, — я провела ногтями по его спине, оставляя красные полосы. — Каждое твоё движение. Каждый твой вздох. Чтобы потом, когда ты будешь в постели с другой, вспоминать и знать — она не умеет так, как я.

Он задвигался быстрее. Грубее. Яростнее.

— Ревнуешь?

Выдохнул мне в лицо.

— Я подсчитываю, — я прикусила его плечо, и он зарычал. — Сколько раз тебе придёшь ко мне, чтобы я зачала. Сколько ночей ты будешь моим. Только моим.

Стонала и почти выкрикивала эти слова — смесь моей игры страсти и её тайных страхов.

— Ты безумна, — выдохнул он, но в голосе не было насмешки. Только хриплое, животное восхищение.

— Возможно, — я перевернула его.

Сама. Рывком, от которого он опешил. Теперь я была сверху, и мои волосы упали на его лицо.

— Но ты кончишь в меня. Снова. И снова. Пока я не скажу «хватит».

Он попытался перехватить инициативу — дёрнулся, чтобы перевернуть меня обратно.

Но я прижала его запястья к подушке. Тем же жестом, которым он умирал меня час назад.

Постель превратилась в поле битвы, и я надеялась выиграть.

— Нет, Фил. Сейчас я командую.

Он замер. Смотрел на меня снизу вверх — и в его глазах было что-то новое. Не страх. Не гнев.

Любопытство. И желание. Настоящее, острое, почти болезненное.

— Ты не моя жена, — прошептал он. — Ты одержима.

— Я мать твоих детей, — ответила я и начала двигаться. Медленно. Глубоко. — Я твоя любящая и покорная жена. Твоя королева.

Каждое движение — рассчитанное, точное, как в лучших родах, когда надо помочь ребёнку выйти. Только сейчас я помогала ему войти.

Как можно глубже. Как можно полнее.

Он застонал. Пальцами вцепился в мои бёдра — до синяков.

— Ещё, — прошептал он.

— Скажи «пожалуйста».

— Что?

— Скажи «пожалуйста, Хуана». Или я остановлюсь.

Я действительно остановилась. Замерла, чувствуя, как он пульсирует внутри.

Филипп Красивый, герцог Бургундский, будущий король Кастилии, Наварры и всех моих владений, смотрел на меня с ненавистью и вождедением.

— Ты заплатишь за это, — прошипел он.

— Завтра. А сегодня — скажи.

Он молчал. Я ждала. Свечи трещали. Где-то за стеной всхлипнула фрейлина.

— Пожалуйста, — выдохнул он. — Пожалуйста, Хуана.

Я улыбнулась. И двинулась.

Быстро. Жёстко. Без жалости.

Он кончил через минуту — и я почувствовала это каждой клеткой чужого тела.

Тепло разлилось внутри, и в тот же миг я поняла: да. Сейчас. Именно в эту секунду что-то случилось.

Яйцеклетка вышла. Сперматозоиды двинулись навстречу. Я — акушерка с двадцатипятилетним стажем — знала это не по учебникам. Я чувствовала, а может, хотела почувствовать.

Наконец-то испытать, каково это: быть в миге зачатия новой жизни. Или надеяться на это.

Моё чужое тело понесло. И пусть кто-то бы сказал, что это игра воображения, я испытала такое счастье, с каким не сравнится даже материнская ласка, полученная в детстве.

Потому что давать жизнь, любовь, тепло слаще, чем принимать.

Я сползла с него, тяжело дыша.

Филипп лежал с закрытыми глазами, и впервые за этот вечер на его лице не было ни насмешки, ни скуки. Только изнеможение.

— Ты не выйдешь, — сказала я, подтыкая под себя подушку. Классическая поза — бёдра выше, чтобы семя не вытекло. — Я скажу, когда можно уйти.

Он открыл глаза. Посмотрел на меня — и вдруг усмехнулся. Дружелюбно почти.

— Ты как-то изменилась, Хуана.

— Я проснулась, — ответила я. — Иди спать, Фил. Завтра будет новый день. И новая ночь, когда мы будем делать сына. Или просто любить друг друга.

Он не ушёл.

Лёг рядом. Через минуту засопел — заснул, уставший и сытый.

Я лежала с подушкой под бёдрами и считала. Не до десяти. До девяти месяцев.

«Ты теперь мать, которую предаст её сын».

Это мы ещё посмотрим! До того времени много воды утечёт. Да и останусь ли я здесь так надолго?

Здесь ли я вообще, или это моё воображение, истёрзанное муками бесплодия, собственной немощи, вдруг потянуло меня в безумие?

Пусть будет сын.

Пусть захочет предать. Но сначала я его рожу. Выкормлю. Выращу.

А потом посмотрим.

Я положила руку на низ живота. Там, внутри, только что началась жизнь.

Моя жизнь. Наконец-то.

И никто — ни Филипп, ни Фердинанд, ни вся католическая церковь или даже прежняя Хуана — не отнимет у меня этого ребёнка.

Я поклялась в этом себе. В темноте. Под храп спящего короля. Или эрцгерцога, коим он был на самом деле. Но любил строить и себя короля.

Раз женился на королеве!

И впервые за много лет я заснула с улыбкой.

«Уходит. Как всегда. Кончил — и вон».

В другой жизни — в моей, Анниной, питерской, хрущёвской — я бы отвернулась к стене.

Сказала бы: «Иди».

Потому что гордость. Потому что унизительно просить

мужчину, который только что назвал тебя покорной овечкой, остаться.

Он же всеми силами показывает, что я для него пустое место! Сосуд для его амбиций!

Но я больше не в Петербурге.

Я в теле королевы, которую хотят объявить сумасшедшей. У которой хотят отнять трон. У которой хотят отнять детей — тех, что уже есть, и тех, что ещё не родились.

А ещё я — женщина, которой десять лет назад сказали: «У вас никогда не будет своих детей, Анна Сергеевна. Бесплодие. Идиопатическое. Мы ничего не можем сделать».

И я верила.

Привыкла. Смирилась.

Но сейчас, когда я чувствовала, как по бедру течёт чужое семя — тёплое, живое, полное возможностей, — во мне просыпалось что-то древнее. Что-то, что сильнее гордости.

Сильнее страха. Сильнее брезгливости, и уж тем более сильнее гордости.

Голос Зины звучал в голове, раззадоривая и бросая вызов: «Вы теперь мать, которую предаст её сын, зачатый в эту ночь».

Предаст. Но сначала — родится. Сначала — будет мой.

Мой ребёнок. Пусть даже в чужом теле. Пусть даже с чужим именем, а я уж сумею воспитать его благодарным. Не предателем, не таким, как его самодовольный отец.

— Фил, — позвала я, стараясь вложить в голос как можно

больше страсти.

Он замер у двери. Обернулся. В глазах — усталое раздражение.

— Что тебе ещё?

— Остайся со мной. Выпьем, поболтаем, не чужие же люди! А там, может, я сумею предложить тебе и кое-что ещё!

Он усмехнулся. Не поверил, решил, что я капризничаю.

Я специально легонько похлопала себя по бедру, покрытому тонкой тканью сорочки.

Сейчас бы подмыться не мешало, но пока я буду туалетом заниматься, муж сбежит.

А мне он нужен не только как пылкий любовник, но и как источник новых знаний.

На одну память Хуаны надежды нет: вдруг, она и вправду безумна, как о ней писали?

— Только что ты брыкалась как норовистая кобыла. И плевалась. А теперь «остайся»? — он покачал головой. — У тебя точно горячка, Хуана. Я пришлю лекаря.

Он уже взялся за ручку двери. Ещё секунда — и уйдёт. К любовнице. К вину. К своим бургундским интригам.

— Я хочу от тебя сына, — сказала я.

Знаю куда бить! Где его ахиллесова пята!

Не попросила. Не взмолилась. Сказала — как констатируют факт.

Филипп обернулся и посмотрел с подозрением, с прищуром, как он обычно смотрел на своих слишком ретивых ми-

нистров:

— У нас уже есть две дочери. Ты говорила, что не хочешь больше проходить через родовые муки. Чего же тебе ещё? Что за игру ты затеяла?!

— Мне нужен сын, королевству нужен сын. Тебе нужен сын! — Я села на постели, не стесняясь наготы. Сорочка сползла с плеча, и я не стала её поправлять.

— Тебе нужен наследник. И наш долг перед народом, перед моим отцом и покойной королевой Изабеллой, моей матерью, зачать его.

Он сузил глаза. Красивое лицо стало хищным.

— Ты никогда не интересовалась политикой. Только молитвами и постами.

Хуана была набожной католичкой, шокированной разгулом и красками бургундского двора, который так и не стал для бедняги домом.

— Сегодня заинтересовалась, — я смотрела на него в упор. Свет свечей плясал на его золотых волосах, на скулах, на влажных ещё губах.

И я почувствовала возбуждение, тяжесть внизу живота.

— Останься, Фил. Сделай мне сына. Прямо сейчас.

— Фил, — он повторил, словно пробуя на вкус. — Странное имя.

— Тебе нравится, — я улыбнулась. Не широко. Только уголками губ. — Я вижу.

Он сделал шаг назад. К кровати. Не ко мне — к кровати.

Но это уже было победой.

— Ты никогда не просила меня остаться, — сказал он медленно. — Даже когда была нежна. Только терпела. Или плакала. А сейчас — он склонил голову, разглядывая меня как диковинную вещь. — Что с тобой, женщина?

— Я просто твоя жена, — я откинулась на подушки и развела колени.

Медленно. Нарочито. Как те девушки из порно, которые знают, что мужчины ведутся на откровенность.

— Которая хочет родить тебе наследника. Разве этого недостаточно для удачного брака?

Он стоял. Смотрел на мои разведённые бёдра. На влажную дорожку, стекающую по внутренней стороне.

Я видела, как поднимается его грудь. Как расширяются зрачки.

Бедняга шокирован моей развратностью.

— Ты играешь в опасную игру, Хуана, — сказал он глухо.

— Я не играю, — ответила я. — Я хочу ребёнка. А ты хочешь меня. И в итоге сына от меня.

Он сорвал с себя штаны. Не застегнул, не положил аккуратно — сорвал, с треском ткани.

Я невольно сглотнула. Он уже стоял. Полностью. Красиво. Опасно.

— Смотри на меня, — приказал он, падая на кровать и нависая сверху. — Когда я буду входить — смотри.

— Я и смотрю.

Он вошёл резко. Я не была готова — не так, как в первый раз. Но боль смешалась с чем-то другим, и я застонала. Не от унижения. От удовольствия.

Всё-таки есть у женщины тайная власть делать вид, что тебя берут силой, и получать от этого выгоду. Даже сиюминутную в виду власти над телом мужчины.

— Громче, — прошептал он, вжимая меня в перину. — Пусть все слышат, что королева не святая. Что она хочет своего мужа.

Я обхватила его ногами за талию. Сильно. Так, что он удивился.

— Не только хочу, — выдохнула я ему в рот. — Я заставлю тебя хотеть меня. Каждую ночь. Пока не сделаешь мне дюжину сыновей.

— Дюжину? — он рассмеялся, но смех тут же перешёл в рык, потому что я сжала его внутри. Сознательно. Теми мышцами, которые акушер знает лучше любой куртизанки. — Чёрт, Хуана что ты делаешь?

— Запоминаю, — я провела ногтями по его спине, оставляя красные полосы. — Каждое твоё движение. Каждый твой вздох. Чтобы потом, когда ты будешь в постели с другой, вспоминать и знать — она не умеет так, как я.

Он задвигался быстрее. Грубее. Яростнее.

— Ревнуешь?

Выдохнул мне в лицо.

— Я подсчитываю, — я прикусила его плечо, и он зары-

чал. — Сколько раз тебе придёшь ко мне, чтобы я зачала. Сколько ночей ты будешь моим. Только моим.

Стонала и почти выкрикивала эти слова — смесь моей игры страсти и её тайных страхов.

— Ты безумна, — выдохнул он, но в голосе не было насмешки. Только хриплое, животное восхищение.

— Возможно, — я перевернула его.

Сама. Рывком, от которого он опешил. Теперь я была сверху, и мои волосы упали на его лицо.

— Но ты кончишь в меня. Снова. И снова. Пока я не скажу «хватит».

Он попытался перехватить инициативу — дёрнулся, чтобы перевернуть меня обратно.

Но я прижала его запястья к подушке. Тем же жестом, которым он умирал меня час назад.

Постель превратилась в поле битвы, и я надеялась выиграть.

— Нет, Фил. Сейчас я командую.

Он замер. Смотрел на меня снизу вверх — и в его глазах было что-то новое. Не страх. Не гнев.

Любопытство. И желание. Настоящее, острое, почти болезненное.

— Ты не моя жена, — прошептал он. — Ты одержима.

— Я мать твоих детей, — ответила я и начала двигаться. Медленно. Глубоко. — Я твоя любящая и покорная жена. Твоя королева.

Каждое движение — рассчитанное, точное, как в лучших родах, когда надо помочь ребёнку выйти. Только сейчас я помогала ему войти.

Как можно глубже. Как можно полнее.

Он застонал. Пальцами вцепился в мои бёдра — до синяков.

— Ещё, — прошептал он.

— Скажи «пожалуйста».

— Что?

— Скажи «пожалуйста, Хуана». Или я остановлюсь.

Я действительно остановилась. Замерла, чувствуя, как он пульсирует внутри.

Филипп Красивый, герцог Бургундский, будущий король Кастилии, Наварры и всех моих владений, смотрел на меня с ненавистью и вождедением.

— Ты заплатишь за это, — прошипел он.

— Завтра. А сегодня — скажи.

Он молчал. Я ждала. Свечи трещали. Где-то за стеной всхлипнула фрейлина.

— Пожалуйста, — выдохнул он. — Пожалуйста, Хуана.

Я улыбнулась. И двинулась.

Быстро. Жёстко. Без жалости.

Он кончил через минуту — и я почувствовала это каждой клеткой чужого тела.

Тепло разлилось внутри, и в тот же миг я поняла: да. Сейчас. Именно в эту секунду что-то случилось.

Яйцеклетка вышла. Сперматозоиды двинулись навстречу. Я — акушерка с двадцатипятилетним стажем — знала это не по учебникам. Я чувствовала, а может, хотела почувствовать.

Наконец-то испытать, каково это: быть в миге зачатия новой жизни. Или надеяться на это.

Моё чужое тело понесло. И пусть кто-то бы сказал, что это игра воображения, я испытала такое счастье, с каким не сравнится даже материнская ласка, полученная в детстве.

Потому что давать жизнь, любовь, тепло слаще, чем принимать.

Я сползла с него, тяжело дыша.

Филипп лежал с закрытыми глазами, и впервые за этот вечер на его лице не было ни насмешки, ни скуки. Только изнеможение.

— Ты не выйдешь, — сказала я, подтыкая под себя подушку. Классическая поза — бёдра выше, чтобы семя не вытекло. — Я скажу, когда можно уйти.

Он открыл глаза. Посмотрел на меня — и вдруг усмехнулся. Дружелюбно почти.

— Ты как-то изменилась, Хуана.

— Я проснулась, — ответила я. — Иди спать, Фил. Завтра будет новый день. И новая ночь, когда мы будем делать сына. Или просто любить друг друга.

Он не ушёл.

Лёг рядом. Через минуту засопел — заснул, уставший и

сытый.

Я лежала с подушкой под бёдрами и считала. Не до десяти.
До девяти месяцев.

«Ты теперь мать, которую предаст её сын».

Это мы ещё посмотрим! До того времени много воды утечёт. Да и останусь ли я здесь так надолго?

Здесь ли я вообще, или это моё воображение, истёрзанное муками бесплодия, собственной немощи, вдруг потянуло меня в безумие?

Пусть будет сын.

Пусть захочет предать. Но сначала я его рожу. Выкормлю.
Выращу.

А потом посмотрим.

Я положила руку на низ живота. Там, внутри, только что началась жизнь.

Моя жизнь. Наконец-то.

И никто — ни Филипп, ни Фердинанд, ни вся католическая церковь или даже прежняя Хуана — не отнимет у меня этого ребёнка.

Я поклялась в этом себе. В темноте. Под храп спящего короля. Или эрцгерцога, коим он был на самом деле. Но любил строить и себя короля.

Раз женился на королеве!

И впервые за много лет я заснула с улыбкой.

Глава 4. Подселенка

Я проснулась от тишины, давившей на уши, на грудь, мешавшей дышать.

Воздух в моей спальне сделался тяжёлым, но не только от запаха пота и секса, от аромата свечей, но и от какого-то грозового предчувствия. Будто где-то пряталась шаровая молния, и вот сейчас она выплывет и подожжёт меня.

Я проснулась с надеждой, что пережила тяжёлый странный сон, который никогда не повторится. И одновременно, вспомнив, что было, я понадеялась, что смогу извлечь пользу.

Положила руки на плоский худой живот.

Не было ни крика, ни шагов, ни того, что кто-то трясёт за плечо. Ни птиц за окном, ни шороха фрейлин, ни даже привычного треска свечей.

Только моё дыхание. И ещё что-то.

Чужое.

Я открыла глаза — и не поняла, где нахожусь.

Драконы на потолке. Бархат. Золото. Запах ладана и спермы, смешанный в один тошнотворный коктейль.

«Петербург. Роддом. Смена через два часа», — пронеслось в голове шальной, отчаянной мыслью.

Но я лежала на перине. С подушкой между бёдер. С сорочкой, засохшей на внутренней стороне белья.

Филиппа рядом не было. Только вмятина на подушке и скомканная простыня там, где он спал.

Ушёл. Пока я спала. Даже не попрощался.

«Привыкай, — сказал внутренний голос. Не мой. Не Зины. Третий. — Он всегда так. Кончил — и вон. Иногда даже имени твоего не помнит. Или нарочно называет тебя чужим. Дразнит».

Я села на постели. Голова кружилась. В висках стучало — мерно, как метроном. И в этом стуке мне слышались слова.

«Ты чужая.

Ты не я.

Уйди»

— Кто здесь? — прошептала я. — Хуана?

Никто не ответил.

Но в груди что-то сжалось — больно, остро, будто кто-то сдавил сердце пальцами. Я схватилась за горло, но дышать не мешало. Мешало думать.

Потому что в голове вдруг стало тесно.

Как в коммуналке, где в одной комнате живут двое, а стены картонные.

Я слышала её дыхание. Её слёзы. Её отчаянную, глупую, безнадежную любовь к этому красивому, пустому, жестокому мужчине.

«Он мой, — шептало что-то изнутри. — Он мой муж. Ты не имеешь права. Ты чужая. Ты — демон. Уйди из моего тела! Он не полюбит тебя. Никогда!»

— Твоё тело? — я засмеялась, и смех вышел истеричным, на грани. — Милая, ты сама от него отказалась. Ты предпочла сойти с ума, лишь бы не видеть, как он трахает твоих фрейлин. Я здесь, потому что ты — слабачка.

«Я — королева!»

— Королева, которую хотят запереть в башне. Королева, чьих детей украдут. Королева, которая умрёт в монастыре, бормоча имя мужа-изменника, которого девять месяцев не давала похоронить!

Я сыпала знаниями, которых в прошлой жизни у меня и быть не могло. Что-то говорила Зина, что-то всплыло в памяти, даже не хотелось думать, чьей памяти, мой язык и тело всё ещё не были до конца моими.

Я будто боролась за него. Боролась с ней, с настоящей королевой.

Наконец воцарилась тишина.

А потом — всхлип. Такой отчаянный, детский, что у меня сжалось сердце. Не моё. Наше.

«Помоги мне, — прошептала Хуана. — Пожалуйста. Я не хочу сходить с ума. Я не хочу его терять. Я не хочу терять детей. Я всё сделаю ради него».

Я закрыла глаза. В груди разливалось чужое горе, чёрное, липкое, как дёготь, окрашенное кровавыми всполохами чужой ярости.

— Я попробую, — сказала я тихо. — Но ты должна мне доверять. И не лезть, когда я принимаю решения. Договори-

лись?

Я действовала по наитию. Не могла изгнать Хуану, не могла уйти, но верила, что способ найдётся. Или я очнусь от того безумия, в которое погрузилась по доброй воле.

Я сочувствовала Хуане, но не была готова делить с ней один разум.

И всё же мне была нужна передышка. Собрать больше сведений, найти Зину, или как там зовут этого демона на самом деле!

Вместо ответа — волна тепла. Благодарность. И усталость. Такая глубокая, будто она несла эту тяжесть годами.

А потом — тишина. И в этой тишине я поняла, что осталась одна.

В чужом теле. В чужой стране. В чужом веке.

На время.

— Мне нужно в церковь, — сказала я вслух, и прибежали фрейлины, смотрящие на меня так, будто я восстала из мёртвых.

— Разумеется, ваше величество, — зашелестели они пышными юбками.

Успокоились.

Потому что Хуана была набожна, никого не удивило посещения церкви.

И я успокоилась.

Потому что если есть хоть какой-то шанс понять, что здесь происходит — то только на коленях перед алтарём.

В месте, где она проводила часы, моля о любви, о сыне-наследнике, о том, чтобы муж перестал изменять. И верила, что когда даст миру сына, то Фил изменится.

Станет терпимее и ласковее.

Я позвонила в колокольчик — серебряный, с выгравированным крестом.

Тут же на мой зов пришла моя главная фрейлина — Петрона Манаскес. Высокая, похожая на худую ворону, она была старше меня лет на десять.

Именно она вчера снимала с меня крест — спросила хорошо поставленным голосом старой девы:

— Ваше величество, вы хорошо почивали?

Того требовал этикет.

— Отлично, — я усмехнулась. — Муж меня утомил. Готовьте платье. Я еду в церковь.

— В церковь? — фрейлина переглянулась с другой. — Но месса только через три часа, ваше величество. И его величество уехал на охоту, он не сможет вас сопровождать

— Я не спрашиваю разрешения, — сказала я тем тоном, которым в роддоме разгоняла истеричных бабушек. — Мне нужно помолиться. Одной. Без мужа.

Они засуетились и принялись меня облачать.

Платье — тяжёлое, малиновое, с золотым шитьём. Корсет, который душил.

Кружева, которые лезли в глаза. Я терпела.

Я смотрела в зеркало — на чужое лицо, бледное, с синими

кругами под глазами, с тонкими, искусанными губами.

Хуана могла бы считаться красавицей, но по меркам этого мира и эпохи считалась слишком худой. И фанатичный блеск в глазах, строгость нрава не добавляли ей обаяния.

«Здравствуй, Хуана, — подумала я. — Дай нам обеим сил».

Церковь была маленькой, католической часовней, выстроенной для Хуаны при протестантском дворе.

Дворцовой. Той, куда Хуана ходила каждый день, чтобы поставить свечу за здоровье мужа-изменника.

Я вошла, и меня накрыло.

Воздух в моей спальне сделался тяжёлым, но не только от запаха пота и секса, от аромата свечей, но и от какого-то грозного предчувствия. Будто где-то пряталась шаровая молния, и вот сейчас она выплывет и подожжёт меня.

Я проснулась с надеждой, что пережила тяжёлый странный сон, который никогда не повторится. И одновременно, вспомнив, что было, я понадеялась, что смогу извлечь пользу.

Положила руки на плоский худой живот.

Не было ни крика, ни шагов, ни того, что кто-то трясёт за плечо. Ни птиц за окном, ни шороха фрейлин, ни даже привычного треска свечей.

Только моё дыхание. И ещё что-то.

Чужое.

Я открыла глаза — и не поняла, где нахожусь.

Драконы на потолке. Бархат. Золото. Запах ладана и спермы, смешанный в один тошнотворный коктейль.

«Петербург. Роддом. Смена через два часа», — пронеслось в голове шальной, отчаянной мыслью.

Но я лежала на перине. С подушкой между бёдер. С сорочкой, засохшей на внутренней стороне белья.

Филиппа рядом не было. Только вмятина на подушке и скомканная простыня там, где он спал.

Ушёл. Пока я спала. Даже не попрощался.

«Привыкай, — сказал внутренний голос. Не мой. Не Зины. Третий. — Он всегда так. Кончил — и вон. Иногда даже имени твоего не помнит. Или нарочно называет тебя чужим. Дразнит».

Я села на постели. Голова кружилась. В висках стучало — мерно, как метроном. И в этом стуке мне слышались слова.

«Ты чужая.

Ты не я.

Уйди»

— Кто здесь? — прошептала я. — Хуана?

Никто не ответил.

Но в груди что-то сжалось — больно, остро, будто кто-то сдавил сердце пальцами. Я схватилась за горло, но дышать не мешало. Мешало думать.

Потому что в голове вдруг стало тесно.

Как в коммуналке, где в одной комнате живут двое, а сте-

ны картонные.

Я слышала её дыхание. Её слёзы. Её отчаянную, глупую, безнадежную любовь к этому красивому, пустому, жестокому мужчине.

«Он мой, — шептало что-то изнутри. — Он мой муж. Ты не имеешь права. Ты чужая. Ты — демон. Уйди из моего тела! Он не полюбит тебя. Никогда!»

— Твоё тело? — я засмеялась, и смех вышел истеричным, на грани. — Милая, ты сама от него отказалась. Ты предпочла сойти с ума, лишь бы не видеть, как он трахает твоих фрейлин. Я здесь, потому что ты — слабачка.

«Я — королева!»

— Королева, которую хотят запереть в башне. Королева, чьих детей украдут. Королева, которая умрёт в монастыре, бормоча имя мужа-изменника, которого девять месяцев не давала похоронить!

Я сыпала знаниями, которых в прошлой жизни у меня и быть не могло. Что-то говорила Зина, что-то всплыло в памяти, даже не хотелось думать, чьей памяти, мой язык и тело всё ещё не были до конца моими.

Я будто боролась за него. Боролась с ней, с настоящей королевой.

Наконец воцарилась тишина.

А потом — всхлип. Такой отчаянный, детский, что у меня сжалось сердце. Не моё. Наше.

«Помоги мне, — прошептала Хуана. — Пожалуйста. Я не

хочу сходить с ума. Я не хочу его терять. Я не хочу терять детей. Я всё сделаю ради него».

Я закрыла глаза. В груди разливалось чужое горе, чёрное, липкое, как дёготь, окрашенное кровавыми всполохами чужой ярости.

— Я попробую, — сказала я тихо. — Но ты должна мне доверять. И не лезть, когда я принимаю решения. Договорились?

Я действовала по наитию. Не могла изгнать Хуану, не могла уйти, но верила, что способ найдётся. Или я очнусь от того безумия, в которое погрузилась по доброй воле.

Я сочувствовала Хуане, но не была готова делить с ней один разум.

И всё же мне была нужна передышка. Собрать больше сведений, найти Зину, или как там зовут этого демона на самом деле!

Вместо ответа — волна тепла. Благодарность. И усталость. Такая глубокая, будто она несла эту тяжесть годами.

А потом — тишина. И в этой тишине я поняла, что осталась одна.

В чужом теле. В чужой стране. В чужом веке.

На время.

— Мне нужно в церковь, — сказала я вслух, и прибежали фрейлины, смотрящие на меня так, будто я восстала из мёртвых.

— Разумеется, ваше величество, — зашелестели они

пышными юбками.

Успокоились.

Потому что Хуана была набожна, никого не удивило посещения церкви.

И я успокоилась.

Потому что если есть хоть какой-то шанс понять, что здесь происходит — то только на коленях перед алтарём.

В месте, где она проводила часы, моля о любви, о сыне-наследнике, о том, чтобы муж перестал изменять. И верила, что когда даст миру сына, то Фил изменится.

Станет терпимее и ласковее.

Я позвонила в колокольчик — серебряный, с выгравированным крестом.

Тут же на мой зов пришла моя главная фрейлина — Петрона Манаскес. Высокая, похожая на худую ворону, она была старше меня лет на десять.

Именно она вчера снимала с меня крест — спросила хорошо поставленным голосом старой девы:

— Ваше величество, вы хорошо почивали?

Того требовал этикет.

— Отлично, — я усмехнулась. — Муж меня утомил. Готовьте платье. Я еду в церковь.

— В церковь? — фрейлина переглянулась с другой. — Но месса только через три часа, ваше величество. И его величество уехал на охоту, он не сможет вас сопровождать

— Я не спрашиваю разрешения, — сказала я тем тоном,

которым в роддоме разгоняла истеричных бабушек. — Мне нужно помолиться. Одной. Без мужа.

Они засуетились и принялись меня облачать.

Платье — тяжёлое, малиновое, с золотым шитьём. Корсет, который душил.

Кружева, которые лезли в глаза. Я терпела.

Я смотрела в зеркало — на чужое лицо, бледное, с синими кругами под глазами, с тонкими, искусанными губами.

Хуана могла бы считаться красавицей, но по меркам этого мира и эпохи считалась слишком худой. И фанатичный блеск в глазах, строгость нрава не добавляли ей обаяния.

«Здравствуй, Хуана, — подумала я. — Дай нам обеим сил».

Церковь была маленькой, католической часовней, выстроенной для Хуаны при протестантском дворе.

Дворцовой. Той, куда Хуана ходила каждый день, чтобы поставить свечу за здоровье мужа-изменника.

Я вошла, и меня накрыло.

Воздух в моей спальне сделался тяжёлым, но не только от запаха пота и секса, от аромата свечей, но и от какого-то грозного предчувствия. Будто где-то пряталась шаровая молния, и вот сейчас она выплывет и подожжёт меня.

Я проснулась с надеждой, что пережила тяжёлый странный сон, который никогда не повторится. И одновременно, вспомнив, что было, я понадеялась, что смогу извлечь поль-

зу.

Положила руки на плоский худой живот.

Не было ни крика, ни шагов, ни того, что кто-то трясёт за плечо. Ни птиц за окном, ни шороха фрейлин, ни даже привычного треска свечей.

Только моё дыхание. И ещё что-то.

Чужое.

Я открыла глаза — и не поняла, где нахожусь.

Драконы на потолке. Бархат. Золото. Запах ладана и спермы, смешанный в один тошнотворный коктейль.

«Петербург. Роддом. Смена через два часа», — пронеслось в голове шальной, отчаянной мыслью.

Но я лежала на перине. С подушкой между бёдер. С сорочкой, засохшей на внутренней стороне белья.

Филиппа рядом не было. Только вмятина на подушке и скомканная простыня там, где он спал.

Ушёл. Пока я спала. Даже не попрощался.

«Привыкай, — сказал внутренний голос. Не мой. Не Зины. Третий. — Он всегда так. Кончил — и вон. Иногда даже имени твоего не помнит. Или нарочно называет тебя чужим. Дразнит».

Я села на постели. Голова кружилась. В висках стучало — мерно, как метроном. И в этом стуке мне слышались слова.

«Ты чужая.

Ты не я.

Уйди»

— Кто здесь? — прошептала я. — Хуана?

Никто не ответил.

Но в груди что-то сжалось — больно, остро, будто кто-то сдавил сердце пальцами. Я схватилась за горло, но дышать не мешало. Мешало думать.

Потому что в голове вдруг стало тесно.

Как в коммуналке, где в одной комнате живут двое, а стены картонные.

Я слышала её дыхание. Её слёзы. Её отчаянную, глупую, безнадежную любовь к этому красивому, пустому, жестокому мужчине.

«Он мой, — шептало что-то изнутри. — Он мой муж. Ты не имеешь права. Ты чужая. Ты — демон. Уйди из моего тела! Он не полюбит тебя. Никогда!»

— Твоё тело? — я засмеялась, и смех вышел истеричным, на грани. — Милая, ты сама от него отказалась. Ты предпочла сойти с ума, лишь бы не видеть, как он трахает твоих фрейлин. Я здесь, потому что ты — слабачка.

«Я — королева!»

— Королева, которую хотят запереть в башне. Королева, чьих детей украдут. Королева, которая умрёт в монастыре, бормоча имя мужа-изменника, которого девять месяцев не давала похоронить!

Я сыпала знаниями, которых в прошлой жизни у меня и быть не могло. Что-то говорила Зина, что-то всплыло в памяти, даже не хотелось думать, чьей памяти, мой язык и тело

всё ещё не были до конца моими.

Я будто боролась за него. Боролась с ней, с настоящей королевой.

Наконец воцарилась тишина.

А потом — всхлип. Такой отчаянный, детский, что у меня сжалось сердце. Не моё. Наше.

«Помоги мне, — прошептала Хуана. — Пожалуйста. Я не хочу сходить с ума. Я не хочу его терять. Я не хочу терять детей. Я всё сделаю ради него».

Я закрыла глаза. В груди разливалось чужое горе, чёрное, липкое, как дёготь, окрашенное кровавыми всполохами чужой ярости.

— Я попробую, — сказала я тихо. — Но ты должна мне доверять. И не лезть, когда я принимаю решения. Договорились?

Я действовала по наитию. Не могла изгнать Хуану, не могла уйти, но верила, что способ найдётся. Или я очнусь от того безумия, в которое погрузилась по доброй воле.

Я сочувствовала Хуане, но не была готова делить с ней один разум.

И всё же мне была нужна передышка. Собрать больше сведений, найти Зину, или как там зовут этого демона на самом деле!

Вместо ответа — волна тепла. Благодарность. И усталость. Такая глубокая, будто она несла эту тяжесть годами.

А потом — тишина. И в этой тишине я поняла, что оста-

лась одна.

В чужом теле. В чужой стране. В чужом веке.

На время.

— Мне нужно в церковь, — сказала я вслух, и прибежали фрейлины, смотрящие на меня так, будто я восстала из мёртвых.

— Разумеется, ваше величество, — зашелестели они пышными юбками.

Успокоились.

Потому что Хуана была набожна, никого не удивило посещения церкви.

И я успокоилась.

Потому что если есть хоть какой-то шанс понять, что здесь происходит — то только на коленях перед алтарём.

В месте, где она проводила часы, моля о любви, о сыне-наследнике, о том, чтобы муж перестал изменять. И верила, что когда даст миру сына, то Фил изменится.

Станет терпимее и ласковее.

Я позвонила в колокольчик — серебряный, с выгравированным крестом.

Тут же на мой зов пришла моя главная фрейлина — Петрона Манаскес. Высокая, похожая на худую ворону, она была старше меня лет на десять.

Именно она вчера снимала с меня крест — спросила хорошо поставленным голосом старой девы:

— Ваше величество, вы хорошо почивали?

Того требовал этикет.

— Отлично, — я усмехнулась. — Муж меня утомил. Готовьте платье. Я еду в церковь.

— В церковь? — фрейлина переглянулась с другой. — Но месса только через три часа, ваше величество. И его величество уехал на охоту, он не сможет вас сопровождать

— Я не спрашиваю разрешения, — сказала я тем тоном, которым в роддоме разгоняла истеричных бабушек. — Мне нужно помолиться. Одной. Без мужа.

Они засуетились и принялись меня облачать.

Платье — тяжёлое, малиновое, с золотым шитьём. Корсет, который душил.

Кружева, которые лезли в глаза. Я терпела.

Я смотрела в зеркало — на чужое лицо, бледное, с синими кругами под глазами, с тонкими, искусанными губами.

Хуана могла бы считаться красавицей, но по меркам этого мира и эпохи считалась слишком худой. И фанатичный блеск в глазах, строгость нрава не добавляли ей обаяния.

«Здравствуй, Хуана, — подумала я. — Дай нам обеим сил».

Церковь была маленькой, католической часовней, выстроенной для Хуаны при протестантском дворе.

Дворцовой. Той, куда Хуана ходила каждый день, чтобы поставить свечу за здоровье мужа-изменника.

Я вошла, и меня накрыло.

Воздух в моей спальне сделался тяжёлым, но не только от запаха пота и секса, от аромата свечей, но и от какого-то грозного предчувствия. Будто где-то пряталась шаровая молния, и вот сейчас она выплывет и подожжёт меня.

Я проснулась с надеждой, что пережила тяжёлый странный сон, который никогда не повторится. И одновременно, вспомнив, что было, я понадеялась, что смогу извлечь пользу.

Положила руки на плоский худой живот.

Не было ни крика, ни шагов, ни того, что кто-то трясёт за плечо. Ни птиц за окном, ни шороха фрейлин, ни даже привычного треска свечей.

Только моё дыхание. И ещё что-то.

Чужое.

Я открыла глаза — и не поняла, где нахожусь.

Драконы на потолке. Бархат. Золото. Запах ладана и спермы, смешанный в один тошнотворный коктейль.

«Петербург. Роддом. Смена через два часа», — пронеслось в голове шальной, отчаянной мыслью.

Но я лежала на перине. С подушкой между бёдер. С сорочкой, засохшей на внутренней стороне белья.

Филиппа рядом не было. Только вмятина на подушке и скомканная простыня там, где он спал.

Ушёл. Пока я спала. Даже не попрощался.

«Привыкай, — сказал внутренний голос. Не мой. Не Зины. Третий. — Он всегда так. Кончил — и вон. Иногда даже

имени твоего не помнит. Или нарочно называет тебя чужим. Дразнит».

Я села на постели. Голова кружилась. В висках стучало — мерно, как метроном. И в этом стуке мне слышались слова.

«Ты чужая.

Ты не я.

Уйди»

— Кто здесь? — прошептала я. — Хуана?

Никто не ответил.

Но в груди что-то сжалось — больно, остро, будто кто-то сдавил сердце пальцами. Я схватилась за горло, но дышать не мешало. Мешало думать.

Потому что в голове вдруг стало тесно.

Как в коммуналке, где в одной комнате живут двое, а стены картонные.

Я слышала её дыхание. Её слёзы. Её отчаянную, глупую, безнадежную любовь к этому красивому, пустому, жестокому мужчине.

«Он мой, — шептало что-то изнутри. — Он мой муж. Ты не имеешь права. Ты чужая. Ты — демон. Уйди из моего тела! Он не полюбит тебя. Никогда!»

— Твоё тело? — я засмеялась, и смех вышел истеричным, на грани. — Милая, ты сама от него отказалась. Ты предпочла сойти с ума, лишь бы не видеть, как он трахает твоих фрейлин. Я здесь, потому что ты — слабачка.

«Я — королева!»

— Королева, которую хотят запереть в башне. Королева, чьих детей украдут. Королева, которая умрёт в монастыре, бормоча имя мужа-изменника, которого девять месяцев не давала похоронить!

Я сыпала знаниями, которых в прошлой жизни у меня и быть не могло. Что-то говорила Зина, что-то всплыло в памяти, даже не хотелось думать, чьей памяти, мой язык и тело всё ещё не были до конца моими.

Я будто боролась за него. Боролась с ней, с настоящей королевой.

Наконец воцарилась тишина.

А потом — всхлип. Такой отчаянный, детский, что у меня сжалось сердце. Не моё. Наше.

«Помоги мне, — прошептала Хуана. — Пожалуйста. Я не хочу сходить с ума. Я не хочу его терять. Я не хочу терять детей. Я всё сделаю ради него».

Я закрыла глаза. В груди разливалось чужое горе, чёрное, липкое, как дёготь, окрашенное кровавыми всполохами чужой ярости.

— Я попробую, — сказала я тихо. — Но ты должна мне доверять. И не лезть, когда я принимаю решения. Договорились?

Я действовала по наитию. Не могла изгнать Хуану, не могла уйти, но верила, что способ найдётся. Или я очнусь от того безумия, в которое погрузилась по доброй воле.

Я сочувствовала Хуане, но не была готова делить с ней

один разум.

И всё же мне была нужна передышка. Собрать больше сведений, найти Зину, или как там зовут этого демона на самом деле!

Вместо ответа — волна тепла. Благодарность. И усталость. Такая глубокая, будто она несла эту тяжесть годами.

А потом — тишина. И в этой тишине я поняла, что осталась одна.

В чужом теле. В чужой стране. В чужом веке.

На время.

— Мне нужно в церковь, — сказала я вслух, и прибежали фрейлины, смотрящие на меня так, будто я восстала из мёртвых.

— Разумеется, ваше величество, — зашелестели они пышными юбками.

Успокоились.

Потому что Хуана была набожна, никого не удивило посещения церкви.

И я успокоилась.

Потому что если есть хоть какой-то шанс понять, что здесь происходит — то только на коленях перед алтарём.

В месте, где она проводила часы, моля о любви, о сыне-наследнике, о том, чтобы муж перестал изменять. И верила, что когда даст миру сына, то Фил изменится.

Станет терпимее и ласковее.

Я позвонила в колокольчик — серебряный, с выгравиро-

ванным крестом.

Тут же на мой зов пришла моя главная фрейлина — Петрона Манаскес. Высокая, похожая на худую ворону, она была старше меня лет на десять.

Именно она вчера снимала с меня крест — спросила хорошо поставленным голосом старой девы:

— Ваше величество, вы хорошо почивали?

Того требовал этикет.

— Отлично, — я усмехнулась. — Муж меня утомил. Готовьте платье. Я еду в церковь.

— В церковь? — фрейлина переглянулась с другой. — Но месса только через три часа, ваше величество. И его величество уехал на охоту, он не сможет вас сопровождать

— Я не спрашиваю разрешения, — сказала я тем тоном, которым в роддоме разгоняла истеричных бабушек. — Мне нужно помолиться. Одной. Без мужа.

Они засуетились и принялись меня облачать.

Платье — тяжёлое, малиновое, с золотым шитьём. Корсет, который душил.

Кружева, которые лезли в глаза. Я терпела.

Я смотрела в зеркало — на чужое лицо, бледное, с синими кругами под глазами, с тонкими, искусанными губами.

Хуана могла бы считаться красавицей, но по меркам этого мира и эпохи считалась слишком худой. И фанатичный блеск в глазах, строгость нрава не добавляли ей обаяния.

«Здравствуй, Хуана, — подумала я. — Дай нам обеим

сил».

Церковь была маленькой, католической часовней, выстроенной для Хуаны при протестантском дворе.

Дворцовой. Той, куда Хуана ходила каждый день, чтобы поставить свечу за здоровье мужа-изменника.

Я вошла, и меня накрыло.

Воздух в моей спальне сделался тяжёлым, но не только от запаха пота и секса, от аромата свечей, но и от какого-то грозного предчувствия. Будто где-то пряталась шаровая молния, и вот сейчас она выплывет и подожжёт меня.

Я проснулась с надеждой, что пережила тяжёлый странный сон, который никогда не повторится. И одновременно, вспомнив, что было, я понадеялась, что смогу извлечь пользу.

Положила руки на плоский худой живот.

Не было ни крика, ни шагов, ни того, что кто-то трясёт за плечо. Ни птиц за окном, ни шороха фрейлин, ни даже привычного треска свечей.

Только моё дыхание. И ещё что-то.

Чужое.

Я открыла глаза — и не поняла, где нахожусь.

Драконы на потолке. Бархат. Золото. Запах ладана и спермы, смешанный в один тошнотворный коктейль.

«Петербург. Роддом. Смена через два часа», — пронеслось в голове шальной, отчаянной мыслью.

Но я лежала на перине. С подушкой между бёдер. С сорочкой, засохшей на внутренней стороне белья.

Филиппа рядом не было. Только вмятина на подушке и скомканная простыня там, где он спал.

Ушёл. Пока я спала. Даже не попрощался.

«Привыкай, — сказал внутренний голос. Не мой. Не Зины. Третий. — Он всегда так. Кончил — и вон. Иногда даже имени твоего не помнит. Или нарочно называет тебя чужим. Дразнит».

Я села на постели. Голова кружилась. В висках стучало — мерно, как метроном. И в этом стуке мне слышались слова.

«Ты чужая.

Ты не я.

Уйди»

— Кто здесь? — прошептала я. — Хуана?

Никто не ответил.

Но в груди что-то сжалось — больно, остро, будто кто-то сдавил сердце пальцами. Я схватилась за горло, но дышать не мешало. Мешало думать.

Потому что в голове вдруг стало тесно.

Как в коммуналке, где в одной комнате живут двое, а стены картонные.

Я слышала её дыхание. Её слёзы. Её отчаянную, глупую, безнадежную любовь к этому красивому, пустому, жестокому мужчине.

«Он мой, — шептало что-то изнутри. — Он мой муж. Ты

не имеешь права. Ты чужая. Ты — демон. Уйди из моего тела! Он не полюбит тебя. Никогда!»

— Твоё тело? — я засмеялась, и смех вышел истеричным, на грани. — Милая, ты сама от него отказалась. Ты предпочла сойти с ума, лишь бы не видеть, как он трахает твоих фрейлин. Я здесь, потому что ты — слабачка.

«Я — королева!»

— Королева, которую хотят запереть в башне. Королева, чьих детей украдут. Королева, которая умрёт в монастыре, бормоча имя мужа-изменника, которого девять месяцев не давала похоронить!

Я сыпала знаниями, которых в прошлой жизни у меня и быть не могло. Что-то говорила Зина, что-то всплыло в памяти, даже не хотелось думать, чьей памяти, мой язык и тело всё ещё не были до конца моими.

Я будто боролась за него. Боролась с ней, с настоящей королевой.

Наконец воцарилась тишина.

А потом — всхлип. Такой отчаянный, детский, что у меня сжалось сердце. Не моё. Наше.

«Помоги мне, — прошептала Хуана. — Пожалуйста. Я не хочу сходить с ума. Я не хочу его терять. Я не хочу терять детей. Я всё сделаю ради него».

Я закрыла глаза. В груди разливалось чужое горе, чёрное, липкое, как дёготь, окрашенное кровавыми всполохами чужой ярости.

— Я попробую, — сказала я тихо. — Но ты должна мне доверять. И не лезть, когда я принимаю решения. Договорились?

Я действовала по наитию. Не могла изгнать Хуану, не могла уйти, но верила, что способ найдётся. Или я очнусь от того безумия, в которое погрузилась по доброй воле.

Я сочувствовала Хуане, но не была готова делить с ней один разум.

И всё же мне была нужна передышка. Собрать больше сведений, найти Зину, или как там зовут этого демона на самом деле!

Вместо ответа — волна тепла. Благодарность. И усталость. Такая глубокая, будто она несла эту тяжесть годами.

А потом — тишина. И в этой тишине я поняла, что осталась одна.

В чужом теле. В чужой стране. В чужом веке.

На время.

— Мне нужно в церковь, — сказала я вслух, и прибежали фрейлины, смотрящие на меня так, будто я восстала из мёртвых.

— Разумеется, ваше величество, — зашелестели они пышными юбками.

Успокоились.

Потому что Хуана была набожна, никого не удивило посещения церкви.

И я успокоилась.

Потому что если есть хоть какой-то шанс понять, что здесь происходит — то только на коленях перед алтарём.

В месте, где она проводила часы, моля о любви, о сыне-наследнике, о том, чтобы муж перестал изменять. И верила, что когда даст миру сына, то Фил изменится.

Станет терпимее и ласковее.

Я позвонила в колокольчик — серебряный, с выгравированным крестом.

Тут же на мой зов пришла моя главная фрейлина — Петрона Манаскес. Высокая, похожая на худую ворону, она была старше меня лет на десять.

Именно она вчера снимала с меня крест — спросила хорошо поставленным голосом старой девы:

— Ваше величество, вы хорошо почивали?

Того требовал этикет.

— Отлично, — я усмехнулась. — Муж меня утомил. Готовьте платье. Я еду в церковь.

— В церковь? — фрейлина переглянулась с другой. — Но месса только через три часа, ваше величество. И его величество уехал на охоту, он не сможет вас сопровождать

— Я не спрашиваю разрешения, — сказала я тем тоном, которым в роддоме разгоняла истеричных бабушек. — Мне нужно помолиться. Одной. Без мужа.

Они засуетились и принялись меня облачать.

Платье — тяжёлое, малиновое, с золотым шитьём. Корсет, который душил.

Кружева, которые лезли в глаза. Я терпела.

Я смотрела в зеркало — на чужое лицо, бледное, с синими кругами под глазами, с тонкими, искусанными губами.

Хуана могла бы считаться красавицей, но по меркам этого мира и эпохи считалась слишком худой. И фанатичный блеск в глазах, строгость нрава не добавляли ей обаяния.

«Здравствуй, Хуана, — подумала я. — Дай нам обеим сил».

Церковь была маленькой, католической часовней, выстроенной для Хуаны при протестантском дворе.

Дворцовой. Той, куда Хуана ходила каждый день, чтобы поставить свечу за здоровье мужа-изменника.

Я вошла, и меня накрыло.

Воздух в моей спальне сделался тяжёлым, но не только от запаха пота и секса, от аромата свечей, но и от какого-то грозного предчувствия. Будто где-то пряталась шаровая молния, и вот сейчас она выплывет и подожжёт меня.

Я проснулась с надеждой, что пережила тяжёлый странный сон, который никогда не повторится. И одновременно, вспомнив, что было, я понадеялась, что смогу извлечь пользу.

Положила руки на плоский худой живот.

Не было ни крика, ни шагов, ни того, что кто-то трясёт за плечо. Ни птиц за окном, ни шороха фрейлин, ни даже привычного треска свечей.

Только моё дыхание. И ещё что-то.

Чужое.

Я открыла глаза — и не поняла, где нахожусь.

Драконы на потолке. Бархат. Золото. Запах ладана и спермы, смешанный в один тошнотворный коктейль.

«Петербург. Роддом. Смена через два часа», — пронеслось в голове шальной, отчаянной мыслью.

Но я лежала на перине. С подушкой между бёдер. С сорочкой, засохшей на внутренней стороне белья.

Филиппа рядом не было. Только вмятина на подушке и скомканная простыня там, где он спал.

Ушёл. Пока я спала. Даже не попрощался.

«Привыкай, — сказал внутренний голос. Не мой. Не Зины. Третий. — Он всегда так. Кончил — и вон. Иногда даже имени твоего не помнит. Или нарочно называет тебя чужим. Дразнит».

Я села на постели. Голова кружилась. В висках стучало — мерно, как метроном. И в этом стуке мне слышались слова.

«Ты чужая.

Ты не я.

Уйди»

— Кто здесь? — прошептала я. — Хуана?

Никто не ответил.

Но в груди что-то сжалось — больно, остро, будто кто-то сдавил сердце пальцами. Я схватилась за горло, но дышать не мешало. Мешало думать.

Потому что в голове вдруг стало тесно.

Как в коммуналке, где в одной комнате живут двое, а стены картонные.

Я слышала её дыхание. Её слёзы. Её отчаянную, глупую, безнадежную любовь к этому красивому, пустому, жестокому мужчине.

«Он мой, — шептало что-то изнутри. — Он мой муж. Ты не имеешь права. Ты чужая. Ты — демон. Уйди из моего тела! Он не полюбит тебя. Никогда!»

— Твоё тело? — я засмеялась, и смех вышел истеричным, на грани. — Милая, ты сама от него отказалась. Ты предпочла сойти с ума, лишь бы не видеть, как он трахает твоих фрейлин. Я здесь, потому что ты — слабачка.

«Я — королева!»

— Королева, которую хотят запереть в башне. Королева, чьих детей украдут. Королева, которая умрёт в монастыре, бормоча имя мужа-изменника, которого девять месяцев не давала похоронить!

Я сыпала знаниями, которых в прошлой жизни у меня и быть не могло. Что-то говорила Зина, что-то всплыло в памяти, даже не хотелось думать, чьей памяти, мой язык и тело всё ещё не были до конца моими.

Я будто боролась за него. Боролась с ней, с настоящей королевой.

Наконец воцарилась тишина.

А потом — всхлип. Такой отчаянный, детский, что у меня

сжалось сердце. Не моё. Наше.

«Помоги мне, — прошептала Хуана. — Пожалуйста. Я не хочу сходить с ума. Я не хочу его терять. Я не хочу терять детей. Я всё сделаю ради него».

Я закрыла глаза. В груди разливалось чужое горе, чёрное, липкое, как дёготь, окрашенное кровавыми всполохами чужой ярости.

— Я попробую, — сказала я тихо. — Но ты должна мне доверять. И не лезть, когда я принимаю решения. Договорились?

Я действовала по наитию. Не могла изгнать Хуану, не могла уйти, но верила, что способ найдётся. Или я очнусь от того безумия, в которое погрузилась по доброй воле.

Я сочувствовала Хуане, но не была готова делить с ней один разум.

И всё же мне была нужна передышка. Собрать больше сведений, найти Зину, или как там зовут этого демона на самом деле!

Вместо ответа — волна тепла. Благодарность. И усталость. Такая глубокая, будто она несла эту тяжесть годами.

А потом — тишина. И в этой тишине я поняла, что осталась одна.

В чужом теле. В чужой стране. В чужом веке.

На время.

— Мне нужно в церковь, — сказала я вслух, и прибежали фрейлины, смотрящие на меня так, будто я восстала из

мёртвых.

— Разумеется, ваше величество, — зашелестели они пышными юбками.

Успокоились.

Потому что Хуана была набожна, никого не удивило посещения церкви.

И я успокоилась.

Потому что если есть хоть какой-то шанс понять, что здесь происходит — то только на коленях перед алтарём.

В месте, где она проводила часы, моля о любви, о сыне-наследнике, о том, чтобы муж перестал изменять. И верила, что когда даст миру сына, то Фил изменится.

Станет терпимее и ласковее.

Я позвонила в колокольчик — серебряный, с выгравированным крестом.

Тут же на мой зов пришла моя главная фрейлина — Петрона Манаскес. Высокая, похожая на худую ворону, она была старше меня лет на десять.

Именно она вчера снимала с меня крест — спросила хорошо поставленным голосом старой девы:

— Ваше величество, вы хорошо почивали?

Того требовал этикет.

— Отлично, — я усмехнулась. — Муж меня утомил. Готовьте платье. Я еду в церковь.

— В церковь? — фрейлина переглянулась с другой. — Но месса только через три часа, ваше величество. И его величе-

ство уехал на охоту, он не сможет вас сопровождать

— Я не спрашиваю разрешения, — сказала я тем тоном, которым в роддоме разгоняла истеричных бабушек. — Мне нужно помолиться. Одной. Без мужа.

Они засуетились и принялись меня облачать.

Платье — тяжёлое, малиновое, с золотым шитьём. Корсет, который душил.

Кружева, которые лезли в глаза. Я терпела.

Я смотрела в зеркало — на чужое лицо, бледное, с синими кругами под глазами, с тонкими, искусанными губами.

Хуана могла бы считаться красавицей, но по меркам этого мира и эпохи считалась слишком худой. И фанатичный блеск в глазах, строгость нрава не добавляли ей обаяния.

«Здравствуй, Хуана, — подумала я. — Дай нам обеим сил».

Церковь была маленькой, католической часовней, выстроенной для Хуаны при протестантском дворе.

Дворцовой. Той, куда Хуана ходила каждый день, чтобы поставить свечу за здоровье мужа-изменника.

Я вошла, и меня накрыло.

Воздух в моей спальне сделался тяжёлым, но не только от запаха пота и секса, от аромата свечей, но и от какого-то грозного предчувствия. Будто где-то пряталась шаровая молния, и вот сейчас она выплывет и подожжёт меня.

Я проснулась с надеждой, что пережила тяжёлый стран-

ный сон, который никогда не повторится. И одновременно, вспомнив, что было, я понадеялась, что смогу извлечь пользу.

Положила руки на плоский худой живот.

Не было ни крика, ни шагов, ни того, что кто-то трясёт за плечо. Ни птиц за окном, ни шороха фрейлин, ни даже привычного треска свечей.

Только моё дыхание. И ещё что-то.

Чужое.

Я открыла глаза — и не поняла, где нахожусь.

Драконы на потолке. Бархат. Золото. Запах ладана и спермы, смешанный в один тошнотворный коктейль.

«Петербург. Роддом. Смена через два часа», — пронеслось в голове шальной, отчаянной мыслью.

Но я лежала на перине. С подушкой между бёдер. С сорочкой, засохшей на внутренней стороне белья.

Филиппа рядом не было. Только вмятина на подушке и скомканная простыня там, где он спал.

Ушёл. Пока я спала. Даже не попрощался.

«Привыкай, — сказал внутренний голос. Не мой. Не Зины. Третий. — Он всегда так. Кончил — и вон. Иногда даже имени твоего не помнит. Или нарочно называет тебя чужим. Дразнит».

Я села на постели. Голова кружилась. В висках стучало — мерно, как метроном. И в этом стуке мне слышались слова.

«Ты чужая.

Ты не я.

Уйди»

— Кто здесь? — прошептала я. — Хуана?

Никто не ответил.

Но в груди что-то сжалось — больно, остро, будто кто-то сдавил сердце пальцами. Я схватилась за горло, но дышать не мешало. Мешало думать.

Потому что в голове вдруг стало тесно.

Как в коммуналке, где в одной комнате живут двое, а стены картонные.

Я слышала её дыхание. Её слёзы. Её отчаянную, глупую, безнадежную любовь к этому красивому, пустому, жестокому мужчине.

«Он мой, — шептало что-то изнутри. — Он мой муж. Ты не имеешь права. Ты чужая. Ты — демон. Уйди из моего тела! Он не полюбит тебя. Никогда!»

— Твоё тело? — я засмеялась, и смех вышел истеричным, на грани. — Милая, ты сама от него отказалась. Ты предпочла сойти с ума, лишь бы не видеть, как он трахает твоих фрейлин. Я здесь, потому что ты — слабачка.

«Я — королева!»

— Королева, которую хотят запереть в башне. Королева, чьих детей украдут. Королева, которая умрёт в монастыре, бормоча имя мужа-изменника, которого девять месяцев не давала похоронить!

Я сыпала знаниями, которых в прошлой жизни у меня и

быть не могло. Что-то говорила Зина, что-то всплыло в памяти, даже не хотелось думать, чьей памяти, мой язык и тело всё ещё не были до конца моими.

Я будто боролась за него. Боролась с ней, с настоящей королевой.

Наконец воцарилась тишина.

А потом — всхлип. Такой отчаянный, детский, что у меня сжалось сердце. Не моё. Наше.

«Помоги мне, — прошептала Хуана. — Пожалуйста. Я не хочу сходить с ума. Я не хочу его терять. Я не хочу терять детей. Я всё сделаю ради него».

Я закрыла глаза. В груди разливалось чужое горе, чёрное, липкое, как дёготь, окрашенное кровавыми всполохами чужой ярости.

— Я попробую, — сказала я тихо. — Но ты должна мне доверять. И не лезть, когда я принимаю решения. Договорились?

Я действовала по наитию. Не могла изгнать Хуану, не могла уйти, но верила, что способ найдётся. Или я очнусь от того безумия, в которое погрузилась по доброй воле.

Я сочувствовала Хуане, но не была готова делить с ней один разум.

И всё же мне была нужна передышка. Собрать больше сведений, найти Зину, или как там зовут этого демона на самом деле!

Вместо ответа — волна тепла. Благодарность. И уста-

лость. Такая глубокая, будто она несла эту тяжесть годами.

А потом — тишина. И в этой тишине я поняла, что осталась одна.

В чужом теле. В чужой стране. В чужом веке.

На время.

— Мне нужно в церковь, — сказала я вслух, и прибежали фрейлины, смотрящие на меня так, будто я восстала из мёртвых.

— Разумеется, ваше величество, — зашелестели они пышными юбками.

Успокоились.

Потому что Хуана была набожна, никого не удивило посещения церкви.

И я успокоилась.

Потому что если есть хоть какой-то шанс понять, что здесь происходит — то только на коленях перед алтарём.

В месте, где она проводила часы, моля о любви, о сыне-наследнике, о том, чтобы муж перестал изменять. И верила, что когда даст миру сына, то Фил изменится.

Станет терпимее и ласковее.

Я позвонила в колокольчик — серебряный, с выгравированным крестом.

Тут же на мой зов пришла моя главная фрейлина — Петрона Манаскес. Высокая, похожая на худую ворону, она была старше меня лет на десять.

Именно она вчера снимала с меня крест — спросила хо-

рошо поставленным голосом старой девы:

— Ваше величество, вы хорошо почивали?

Того требовал этикет.

— Отлично, — я усмехнулась. — Муж меня утомил. Готовьте платье. Я еду в церковь.

— В церковь? — фрейлина переглянулась с другой. — Но месса только через три часа, ваше величество. И его величество уехал на охоту, он не сможет вас сопровождать

— Я не спрашиваю разрешения, — сказала я тем тоном, которым в роддоме разгоняла истеричных бабушек. — Мне нужно помолиться. Одной. Без мужа.

Они засуетились и принялись меня облачать.

Платье — тяжёлое, малиновое, с золотым шитьём. Корсет, который душил.

Кружева, которые лезли в глаза. Я терпела.

Я смотрела в зеркало — на чужое лицо, бледное, с синими кругами под глазами, с тонкими, искусанными губами.

Хуана могла бы считаться красавицей, но по меркам этого мира и эпохи считалась слишком худой. И фанатичный блеск в глазах, строгость нрава не добавляли ей обаяния.

«Здравствуй, Хуана, — подумала я. — Дай нам обеим сил».

Церковь была маленькой, католической часовней, выстроенной для Хуаны при протестантском дворе.

Дворцовой. Той, куда Хуана ходила каждый день, чтобы поставить свечу за здоровье мужа-изменника.

Я вошла, и меня накрыло.

Воздух в моей спальне сделался тяжёлым, но не только от запаха пота и секса, от аромата свечей, но и от какого-то грозного предчувствия. Будто где-то пряталась шаровая молния, и вот сейчас она выплывет и подожжёт меня.

Я проснулась с надеждой, что пережила тяжёлый странный сон, который никогда не повторится. И одновременно, вспомнив, что было, я понадеялась, что смогу извлечь пользу.

Положила руки на плоский худой живот.

Не было ни крика, ни шагов, ни того, что кто-то трясёт за плечо. Ни птиц за окном, ни шороха фрейлин, ни даже привычного треска свечей.

Только моё дыхание. И ещё что-то.

Чужое.

Я открыла глаза — и не поняла, где нахожусь.

Драконы на потолке. Бархат. Золото. Запах ладана и спермы, смешанный в один тошнотворный коктейль.

«Петербург. Роддом. Смена через два часа», — пронеслось в голове шальной, отчаянной мыслью.

Но я лежала на перине. С подушкой между бёдер. С сорочкой, засохшей на внутренней стороне белья.

Филиппа рядом не было. Только вмятина на подушке и скомканная простыня там, где он спал.

Ушёл. Пока я спала. Даже не попрощался.

«Привыкай, — сказал внутренний голос. Не мой. Не Зины. Третий. — Он всегда так. Кончил — и вон. Иногда даже имени твоего не помнит. Или нарочно называет тебя чужим. Дразнит».

Я села на постели. Голова кружилась. В висках стучало — мерно, как метроном. И в этом стуке мне слышались слова.

«Ты чужая.

Ты не я.

Уйди»

— Кто здесь? — прошептала я. — Хуана?

Никто не ответил.

Но в груди что-то сжалось — больно, остро, будто кто-то сдавил сердце пальцами. Я схватилась за горло, но дышать не мешало. Мешало думать.

Потому что в голове вдруг стало тесно.

Как в коммуналке, где в одной комнате живут двое, а стены картонные.

Я слышала её дыхание. Её слёзы. Её отчаянную, глупую, безнадежную любовь к этому красивому, пустому, жестокому мужчине.

«Он мой, — шептало что-то изнутри. — Он мой муж. Ты не имеешь права. Ты чужая. Ты — демон. Уйди из моего тела! Он не полюбит тебя. Никогда!»

— Твоё тело? — я засмеялась, и смех вышел истеричным, на грани. — Милая, ты сама от него отказалась. Ты предпочла сойти с ума, лишь бы не видеть, как он трахает твоих

фрейлин. Я здесь, потому что ты — слабачка.

«Я — королева!»

— Королева, которую хотят запереть в башне. Королева, чьих детей украдут. Королева, которая умрёт в монастыре, бормоча имя мужа-изменника, которого девять месяцев не давала похоронить!

Я сыпала знаниями, которых в прошлой жизни у меня и быть не могло. Что-то говорила Зина, что-то всплыло в памяти, даже не хотелось думать, чьей памяти, мой язык и тело всё ещё не были до конца моими.

Я будто боролась за него. Боролась с ней, с настоящей королевой.

Наконец воцарилась тишина.

А потом — всхлип. Такой отчаянный, детский, что у меня сжалось сердце. Не моё. Наше.

«Помоги мне, — прошептала Хуана. — Пожалуйста. Я не хочу сходить с ума. Я не хочу его терять. Я не хочу терять детей. Я всё сделаю ради него».

Я закрыла глаза. В груди разливалось чужое горе, чёрное, липкое, как дёготь, окрашенное кровавыми всполохами чужой ярости.

— Я попробую, — сказала я тихо. — Но ты должна мне доверять. И не лезть, когда я принимаю решения. Договорились?

Я действовала по наитию. Не могла изгнать Хуану, не могла уйти, но верила, что способ найдётся. Или я очнусь от то-

го безумия, в которое погрузилась по доброй воле.

Я сочувствовала Хуане, но не была готова делить с ней один разум.

И всё же мне была нужна передышка. Собрать больше сведений, найти Зину, или как там зовут этого демона на самом деле!

Вместо ответа — волна тепла. Благодарность. И усталость. Такая глубокая, будто она несла эту тяжесть годами.

А потом — тишина. И в этой тишине я поняла, что осталась одна.

В чужом теле. В чужой стране. В чужом веке.

На время.

— Мне нужно в церковь, — сказала я вслух, и прибежали фрейлины, смотрящие на меня так, будто я восстала из мёртвых.

— Разумеется, ваше величество, — зашелестели они пышными юбками.

Успокоились.

Потому что Хуана была набожна, никого не удивило посещения церкви.

И я успокоилась.

Потому что если есть хоть какой-то шанс понять, что здесь происходит — то только на коленях перед алтарём.

В месте, где она проводила часы, моля о любви, о сыне-наследнике, о том, чтобы муж перестал изменять. И верила, что когда даст миру сына, то Фил изменится.

Станет терпимее и ласковее.

Я позвонила в колокольчик — серебряный, с выгравированным крестом.

Тут же на мой зов пришла моя главная фрейлина — Петрона Манаскес. Высокая, похожая на худую ворону, она была старше меня лет на десять.

Именно она вчера снимала с меня крест — спросила хорошо поставленным голосом старой девы:

— Ваше величество, вы хорошо почивали?

Того требовал этикет.

— Отлично, — я усмехнулась. — Муж меня утомил. Готовьте платье. Я еду в церковь.

— В церковь? — фрейлина переглянулась с другой. — Но месса только через три часа, ваше величество. И его величество уехал на охоту, он не сможет вас сопровождать

— Я не спрашиваю разрешения, — сказала я тем тоном, которым в роддоме разгоняла истеричных бабушек. — Мне нужно помолиться. Одной. Без мужа.

Они засуетились и принялись меня облачать.

Платье — тяжёлое, малиновое, с золотым шитьём. Корсет, который душил.

Кружева, которые лезли в глаза. Я терпела.

Я смотрела в зеркало — на чужое лицо, бледное, с синими кругами под глазами, с тонкими, искусанными губами.

Хуана могла бы считаться красавицей, но по меркам этого мира и эпохи считалась слишком худой. И фанатичный

блеск в глазах, строгость нрава не добавляли ей обаяния.

«Здравствуй, Хуана, — подумала я. — Дай нам обеим сил».

Церковь была маленькой, католической часовней, выстроенной для Хуаны при протестантском дворе.

Дворцовой. Той, куда Хуана ходила каждый день, чтобы поставить свечу за здоровье мужа-изменника.

Я вошла, и меня накрыло.

Глава 5. И тебя вылечат!

Ладан.

Воск.

Тишина. Иконы — нет, не иконы, католические распятия, Мадонны с младенцами, святые в золотых ризах.

Витражные окна бросали на каменный пол разноцветные пятна — красные, синие, жёлтые.

Я опустилась на колени перед алтарём. Жестокая, непривычная поза — в этом теле колени болели уже через минуту. Но я терпела.

— Господи, — прошептала я по-русски, а потом спохватилась и повторила на том языке, который помнила Хуана, — *Domine, exaudi me.*

Тишина. Она молчала.

И вдруг — как удар под дых — видение.

Я не увидела его глазами. Я почувствовала. Телом. Кожей. Костями, всем внутренним существом.

Филипп лежит в грязной постели. Не в нашей — в какой-то чужой, в трактире, куда он заехал по пути с охоты. Или где-то ещё, я не поняла сразу.

Его трясёт. Лоб мокрый, горячий. Глаза запали, губы потрескались. Рядом — перепуганный слуга и лекарь, который разводит руками.

«Брюшной тиф, — говорю я себе профессиональным, хо-

лодным голосом. — Инкубационный период грязная вода антибиотиков нет умрёт через неделю».

И он умирает.

Я вижу его лицо в момент смерти — красивое даже в агонии. Глаза открыты. Он смотрит в потолок и шепчет: «Хуана прости»

Но тогда слишком поздно.

А потом — другое.

Я, в этом же малиновом платье, стою над его гробом. Гроб открыт. Филипп лежит в парадном камзоле, с мечом, с орденами. Красивый. Мёртвый.

А я — беременная. Живот уже заметен. Пятый месяц? Шестой?

Тот ребёнок, которого я вымолила вчера ночью, растёт во мне, я это чувствовала. И я не хотела его терять даже из-за видений.

Но я не могу похоронить его отца, иначе моя собственная судьба станет незавидной.

Не могу оставить Филиппа умирать.

Потому что, если я признаю, что он мёртв — трон отойдёт моему отцу. Или сыну. А меня упекут в монастырь.

Я приказываю везти его тело.

Сначала в карете. Потом — на лошади, потому что карета ломается. Потом — пешком, потому что лошадидохнут.

Я везу его девять месяцев.

Девять месяцев трупного запаха, который пропитал мои

платья, мои волосы, мою кожу.

Моего сына, которого я родила и оставила на попечении нянек.

Девять месяцев сплетен: «Королева сошла с ума. Она возит с собой мертвеца. Она целует его синие губы. Она разговаривает с ним по ночам».

Я не целую. Я не разговариваю. Я просто не могу его отпустить. Потому что, если отпущу — всё кончится. И моя власть.

И моя свобода. И мой ребёнок, которого отдадут, уже отдали, чужим людям.

И мои дочери, с которыми я больше не увижусь.

Я рожала сына в бесконечной дороге. В холодном замке вассала, где пахло потом и кислым пивом.

Служанка принимала роды дрожащими руками. Она ничего не умела, кроме как наблюдать, это были её первые роды. У королевы.

Если я не рожу, умру, её сожгут, как ведьму.

Я кричала, но не от боли. От ужаса.

Потому что когда я держала на руках младенца — мальчика, живого, тёплого, с кулачками размером с виноградину — я понимала: он не спасёт меня.

Его заберут.

Как и старших.

Как и всех.

А меня запрут в монастыре. В Тордесильясе.

В башне без окон. Где я буду смотреть на стены двадцать лет. Где я буду вспоминать лицо мужа — живое, красивое, насмешливое. Где я буду шептать его имя, пока не сотру язык.

«Филипп. Филипп. Филипп».

А придворные будут писать в хрониках: «Хуана Безумная. Королева, которая сошла с ума от любви».

— Нет! — закричала я.

Видение схлопнулось. Я сидела на каменном полу церкви, вся мокрая от пота, сжимая в руках подсвечник. Фрейлины стояли у входа, бледные, перепуганные.

— Ваше величество — начала Петрона Манаскес, давая знак прочим не подходить.

— Выйдите! — заорала я. — Все вон!

Они выбежали. Я осталась одна.

Перед алтарём. Перед распятием. Перед Мадонной, которая смотрела на меня мозаичными, равнодушными глазами.

— Это не случится, — прошептала я. — Я не дам. Я не позволю ему умереть. Я не позволю запереть меня.

Но голос изнутри — тот, другой, Хуаны — ответил:

«Это уже случилось. Это моя судьба. А теперь — твоя».

И безумный смех, продирающий до костей, тихий, и оттого ещё более зловещий.

— Нет!

Я вцепилась в скамью. Костяшки побелели.

«Брось монетку в ведро, — вспомнилось мне. — Возьми

чужую судьбу. Ту, кому ты сможешь помочь».

Помочь?

Как я могу помочь женщине, которую запрут в башне на много лет? Как я могу помочь мёртвому мужу? Как я могу помочь ребёнку, которого ей не отдадут, которого настроят против матери?

Я — акушерка. Я умею принимать роды. Я умею зашивать разрывы. Я умею говорить умирающим женщинам: «Дышите, милая, дышите, сейчас всё пройдёт».

Я не умею воскрешать мёртвых.

Я не умею останавливать, а тем более переписывать историю.

Я поднялась на ноги. Ноги дрожали. В голове гудело.

— Значит, — сказала я вслух, обращаясь к распятию, к Мадонне, к Хуане, которая смотрела изнутри, — значит, я должна его спасти.

Но как?

Я закрыла глаза. И увидела лицо Филиппа. Живое. Насмешливое. То, которое было вчера, когда он шептал: «Ты одержима».

— Я вылечу тебя, — прошептала я. — Даже если ты не захочешь. Даже если ты будешь брыкаться. Я знаю, что такое тиф. Я знаю, как его лечить. У меня есть знания, которых нет у ваших врачей.

Ага, но нет лекарств. Антибиотиков.

Тогда я сделаю так, чтобы он не заболел.

А если не вылечу — если история возьмёт своё — то я не повезу его тело.

Я закопаю его.

И пойду в монастырь сама. На время. Притворюсь покорной, а потом вернусь, как покорная королева-мать, слушающая своих министров. Отрёкшаяся в пользу сына.

Но прежде — я напишу письма папе римскому. Если получится, подниму восстание. Я сделаю всё, чтобы мои дети остались со мной.

Потому что я не Хуана Безумная.

Я Анна Сергеевна Стронова.

Анна, которая двадцать лет не могла родить. Анна, которая видела смерть. Анна, которая знает: чудо случается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Я перекрестилась. Не католическим крестом — справа налево, а своим, русским, привычным. Пусть простят мне святые эту ересь.

Я научусь здешним обычаям, всё будет благопристойно.

— Благослови, Господи, — прошептала я. — И помоги не сойти с ума по-настоящему.

Я вышла из церкви. Фрейлины ждали, прижавшись к стене.

— Едем во дворец, — сказала я. — И пришлите ко мне лекаря. Мне нужно поговорить с ним кое о чём.

— Но, ваше величество вам нездоровится?

Петрона Манаскес считала, что раз она управляет моим

двором, то и мной тоже. Потому что я неразумна.

— Я знаю, — я улыбнулась и посмотрела ей в глаза. — Мы готовимся заранее.

Я села в карету. Закрыла глаза.

Внутри было тихо. Хуана молчала.

Но я чувствовала — она слушает и ждёт, пока я уйду.

Надеется, что снова станет единоличной хозяйкой этого тела, но тому не бывать. Я уже понимала: в конце останется только один.

И я не знаю, захочу ли я уходить, когда рожу ребёнка.

Когда увижу дочек, которыми Хуана почти не занималась.

Сначала — дети. Потом — всё остальное.

Воск.

Тишина. Иконы — нет, не иконы, католические распятия,

Мадонны с младенцами, святые в золотых ризах.

Витражные окна бросали на каменный пол разноцветные пятна — красные, синие, жёлтые.

Я опустилась на колени перед алтарём. Жестокая, непривычная поза — в этом теле колени болели уже через минуту. Но я терпела.

— Господи, — прошептала я по-русски, а потом спохватилась и повторила на том языке, который помнила Хуана, — *Domine, exaudi me.*

Тишина. Она молчала.

И вдруг — как удар под дых — видение.

Я не увидела его глазами. Я почувствовала. Телом. Кожей.

Костями, всем внутренним существом.

Филипп лежит в грязной постели. Не в нашей — в какой-то чужой, в трактире, куда он заехал по пути с охоты. Или где-то ещё, я не поняла сразу.

Его трясёт. Лоб мокрый, горячий. Глаза запали, губы потрескались. Рядом — перепуганный слуга и лекарь, который разводит руками.

«Брюшной тиф, — говорю я себе профессиональным, холодным голосом. — Инкубационный период грязная вода антибиотиков нет умрёт через неделю».

И он умирает.

Я вижу его лицо в момент смерти — красивое даже в агонии. Глаза открыты. Он смотрит в потолок и шепчет: «Хуана прости»

Но тогда слишком поздно.

А потом — другое.

Я, в этом же малиновом платье, стою над его гробом. Гроб открыт. Филипп лежит в парадном камзоле, с мечом, с орденами. Красивый. Мёртвый.

А я — беременная. Живот уже заметен. Пятый месяц? Шестой?

Тот ребёнок, которого я вымолила вчера ночью, растёт во мне, я это чувствовала. И я не хотела его терять даже из-за видений.

Но я не могу похоронить его отца, иначе моя собственная судьба станет незавидной.

Не могу оставить Филиппа умирать.

Потому что, если я признаю, что он мёртв — трон отойдёт моему отцу. Или сыну. А меня упекут в монастырь.

Я приказываю везти его тело.

Сначала в карете. Потом — на лошади, потому что карета ломается. Потом — пешком, потому что лошадидохнут.

Я везу его девять месяцев.

Девять месяцев трупного запаха, который пропитал мои платья, мои волосы, мою кожу.

Моего сына, которого я родила и оставила на попечении нянек.

Девять месяцев сплетен: «Королева сошла с ума. Она возит с собой мертвеца. Она целует его синие губы. Она разговаривает с ним по ночам».

Я не целую. Я не разговариваю. Я просто не могу его отпустить. Потому что, если отпущу — всё кончится. И моя власть.

И моя свобода. И мой ребёнок, которого отдадут, уже отдали, чужим людям.

И мои дочери, с которыми я больше не увижусь.

Я рожала сына в бесконечной дороге. В холодном замке вассала, где пахло потом и кислым пивом.

Служанка принимала роды дрожащими руками. Она ничего не умела, кроме как наблюдать, это были её первые роды. У королевы.

Если я не рожу, умру, её сожгут, как ведьму.

Я кричала, но не от боли. От ужаса.

Потому что когда я держала на руках младенца — мальчика, живого, тёплого, с кулачками размером с виноградину — я понимала: он не спасёт меня.

Его заберут.

Как и старших.

Как и всех.

А меня запрут в монастыре. В Тордесильясе.

В башне без окон. Где я буду смотреть на стены двадцать лет. Где я буду вспоминать лицо мужа — живое, красивое, насмешливое. Где я буду шептать его имя, пока не сотру язык.

«Филипп. Филипп. Филипп».

А придворные будут писать в хрониках: «Хуана Безумная. Королева, которая сошла с ума от любви».

— Нет! — закричала я.

Видение схлопнулось. Я сидела на каменном полу церкви, вся мокрая от пота, сжимая в руках подсвечник. Фрейлины стояли у входа, бледные, перепуганные.

— Ваше величество — начала Петрона Манаскес, давая знак прочим не подходить.

— Выйдите! — заорала я. — Все вон!

Они выбежали. Я осталась одна.

Перед алтарём. Перед распятием. Перед Мадонной, которая смотрела на меня мозаичными, равнодушными глазами.

— Это не случится, — прошептала я. — Я не дам. Я не

позволю ему умереть. Я не позволю запереть меня.

Но голос изнутри — тот, другой, Хуаны — ответил:

«Это уже случилось. Это моя судьба. А теперь — твоя».

И безумный смех, продирающий до костей, тихий, и оттого ещё более зловещий.

— Нет!

Я вцепилась в скамью. Костяшки побелели.

«Брось монетку в ведро, — вспомнилось мне. — Возьми чужую судьбу. Ту, кому ты сможешь помочь».

Помочь?

Как я могу помочь женщине, которую запрут в башне на много лет? Как я могу помочь мёртвому мужу? Как я могу помочь ребёнку, которого ей не отдадут, которого настроят против матери?

Я — акушерка. Я умею принимать роды. Я умею зашивать разрывы. Я умею говорить умирающим женщинам: «Дышите, милая, дышите, сейчас всё пройдёт».

Я не умею воскрешать мёртвых.

Я не умею останавливать, а тем более переписывать историю.

Я поднялась на ноги. Ноги дрожали. В голове гудело.

— Значит, — сказала я вслух, обращаясь к распятию, к Мадонне, к Хуане, которая смотрела изнутри, — значит, я должна его спасти.

Но как?

Я закрыла глаза. И увидела лицо Филиппа. Живое. На-

смешливое. То, которое было вчера, когда он шептал: «Ты одержима».

— Я вылечу тебя, — прошептала я. — Даже если ты не захочешь. Даже если ты будешь брыкаться. Я знаю, что такое тиф. Я знаю, как его лечить. У меня есть знания, которых нет у ваших лекарей.

Ага, но нет лекарств. Антибиотиков.

Тогда я сделаю так, чтобы он не заболел.

А если не вылечу — если история возьмёт своё — то я не повезу его тело.

Я закопаю его.

И пойду в монастырь сама. На время. Притворюсь покорной, а потом вернусь, как покорная королева-мать, слушающая своих министров. Отрёкшаяся в пользу сына.

Но прежде — я напишу письма папе римскому. Если получится, подниму восстание. Я сделаю всё, чтобы мои дети остались со мной.

Потому что я не Хуана Безумная.

Я Анна Сергеевна Стронова.

Анна, которая двадцать лет не могла родить. Анна, которая видела смерть. Анна, которая знает: чудо случается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Я перекрестилась. Не католическим крестом — справа налево, а своим, русским, привычным. Пусть простят мне святые эту ересь.

Я научусь здешним обычаям, всё будет благопристойно.

— Благослови, Господи, — прошептала я. — И помоги не сойти с ума по-настоящему.

Я вышла из церкви. Фрейлины ждали, прижавшись к стене.

— Едем во дворец, — сказала я. — И пришлите ко мне лекаря. Мне нужно поговорить с ним кое о чём.

— Но, ваше величество вам нездоровится?

Петрона Манаскес считала, что раз она управляет моим двором, то и мной тоже. Потому что я неразумна.

— Я знаю, — я улыбнулась и посмотрела ей в глаза. — Мы готовимся заранее.

Я села в карету. Закрyla глаза.

Внутри было тихо. Хуана молчала.

Но я чувствовала — она слушает и ждёт, пока я уйду.

Надеется, что снова станет единоличной хозяйкой этого тела, но тому не бывать. Я уже понимала: в конце останется только один.

И я не знаю, захочу ли я уходить, когда рожу ребёнка.

Когда увижу дочек, которыми Хуана почти не занималась.

Сначала — дети. Потом — всё остальное.

Воск.

Тишина. Иконы — нет, не иконы, католические распятия, Мадонны с младенцами, святые в золотых ризах.

Витражные окна бросали на каменный пол разноцветные пятна — красные, синие, жёлтые.

Я опустилась на колени перед алтарём. Жестокая, непри-

вычная поза — в этом теле колени болели уже через минуту. Но я терпела.

— Господи, — прошептала я по-русски, а потом спохватилась и повторила на том языке, который помнила Хуана, — Domine, exaudi me.

Тишина. Она молчала.

И вдруг — как удар под дых — видение.

Я не увидела его глазами. Я почувствовала. Телом. Кожей. Костями, всем внутренним существом.

Филипп лежит в грязной постели. Не в нашей — в какой-то чужой, в трактире, куда он заехал по пути с охоты. Или где-то ещё, я не поняла сразу.

Его трясёт. Лоб мокрый, горячий. Глаза запали, губы потрескались. Рядом — перепуганный слуга и лекарь, который разводит руками.

«Брюшной тиф, — говорю я себе профессиональным, холодным голосом. — Инкубационный период грязная вода антибиотиков нет умрёт через неделю».

И он умирает.

Я вижу его лицо в момент смерти — красивое даже в агонии. Глаза открыты. Он смотрит в потолок и шепчет: «Хуана прости»

Но тогда слишком поздно.

А потом — другое.

Я, в этом же малиновом платье, стою над его гробом. Гроб открыт. Филипп лежит в парадном камзоле, с мечом, с орде-

нами. Красивый. Мёртвый.

А я — беременная. Живот уже заметен. Пятый месяц? Шестой?

Тот ребёнок, которого я вымолила вчера ночью, растёт во мне, я это чувствовала. И я не хотела его терять даже из-за видений.

Но я не могу похоронить его отца, иначе моя собственная судьба станет незавидной.

Не могу оставить Филиппа умирать.

Потому что, если я признаю, что он мёртв — трон отойдёт моему отцу. Или сыну. А меня упекут в монастырь.

Я приказываю везти его тело.

Сначала в карете. Потом — на лошади, потому что карета ломается. Потом — пешком, потому что лошади дохнут.

Я везу его девять месяцев.

Девять месяцев трупного запаха, который пропитал мои платья, мои волосы, мою кожу.

Моего сына, которого я родила и оставила на попечении нянек.

Девять месяцев сплетен: «Королева сошла с ума. Она возит с собой мертвеца. Она целует его синие губы. Она разговаривает с ним по ночам».

Я не целую. Я не разговариваю. Я просто не могу его отпустить. Потому что, если отпущу — всё кончится. И моя власть.

И моя свобода. И мой ребёнок, которого отдадут, уже от-

дали, чужим людям.

И мои дочери, с которыми я больше не увижусь.

Я рожала сына в бесконечной дороге. В холодном замке вассала, где пахло потом и кислым пивом.

Служанка принимала роды дрожащими руками. Она ничего не умела, кроме как наблюдать, это были её первые роды. У королевы.

Если я не рожу, умру, её сожгут, как ведьму.

Я кричала, но не от боли. От ужаса.

Потому что когда я держала на руках младенца — мальчика, живого, тёплого, с кулачками размером с виноградину — я понимала: он не спасёт меня.

Его заберут.

Как и старших.

Как и всех.

А меня запрут в монастыре. В Тордесильясе.

В башне без окон. Где я буду смотреть на стены двадцать лет. Где я буду вспоминать лицо мужа — живое, красивое, насмешливое. Где я буду шептать его имя, пока не сотру язык.

«Филипп. Филипп. Филипп».

А придворные будут писать в хрониках: «Хуана Безумная. Королева, которая сошла с ума от любви».

— Нет! — закричала я.

Видение схлопнулось. Я сидела на каменном полу церкви, вся мокрая от пота, сжимая в руках подсвечник. Фрейлины

стояли у входа, бледные, перепуганные.

— Ваше величество — начала Петрона Манаскес, давая знак прочим не подходить.

— Выйдите! — заорала я. — Все вон!

Они выбежали. Я осталась одна.

Перед алтарём. Перед распятием. Перед Мадонной, которая смотрела на меня мозаичными, равнодушными глазами.

— Это не случится, — прошептала я. — Я не дам. Я не позволю ему умереть. Я не позволю запереть меня.

Но голос изнутри — тот, другой, Хуаны — ответил:

«Это уже случилось. Это моя судьба. А теперь — твоя».

И безумный смех, продирающий до костей, тихий, и оттого ещё более зловещий.

— Нет!

Я вцепилась в скамью. Костяшки побелели.

«Брось монетку в ведро, — вспомнилось мне. — Возьми чужую судьбу. Ту, кому ты сможешь помочь».

Помочь?

Как я могу помочь женщине, которую запрут в башне на много лет? Как я могу помочь мёртвому мужу? Как я могу помочь ребёнку, которого ей не отдадут, которого настроят против матери?

Я — акушерка. Я умею принимать роды. Я умею зашивать разрывы. Я умею говорить умирающим женщинам: «Дышите, милая, дышите, сейчас всё пройдёт».

Я не умею воскрешать мёртвых.

Я не умею останавливать, а тем более переписывать историю.

Я поднялась на ноги. Ноги дрожали. В голове гудело.

— Значит, — сказала я вслух, обращаясь к распятию, к Мадонне, к Хуане, которая смотрела изнутри, — значит, я должна его спасти.

Но как?

Я закрыла глаза. И увидела лицо Филиппа. Живое. Насмешливое. То, которое было вчера, когда он шептал: «Ты одержима».

— Я вылечу тебя, — прошептала я. — Даже если ты не захочешь. Даже если ты будешь брыкаться. Я знаю, что такое тиф. Я знаю, как его лечить. У меня есть знания, которых нет у ваших лекарей.

Ага, но нет лекарств. Антибиотиков.

Тогда я сделаю так, чтобы он не заболел.

А если не вылечу — если история возьмёт своё — то я не повезу его тело.

Я закопаю его.

И пойду в монастырь сама. На время. Притворюсь покорной, а потом вернусь, как покорная королева-мать, слушающая своих министров. Отрёкшаяся в пользу сына.

Но прежде — я напишу письма папе римскому. Если получится, подниму восстание. Я сделаю всё, чтобы мои дети остались со мной.

Потому что я не Хуана Безумная.

Я Анна Сергеевна Стронова.

Анна, которая двадцать лет не могла родить. Анна, которая видела смерть. Анна, которая знает: чудо случается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Я перекрестилась. Не католическим крестом — справа налево, а своим, русским, привычным. Пусть простят мне святые эту ересь.

Я научусь здешним обычаям, всё будет благопристойно.

— Благослови, Господи, — прошептала я. — И помоги не сойти с ума по-настоящему.

Я вышла из церкви. Фрейлины ждали, прижавшись к стене.

— Едем во дворец, — сказала я. — И пришлите ко мне лекаря. Мне нужно поговорить с ним кое о чём.

— Но, ваше величество вам нездоровится?

Петрона Манаскес считала, что раз она управляет моим двором, то и мной тоже. Потому что я неразумна.

— Я знаю, — я улыбнулась и посмотрела ей в глаза. — Мы готовимся заранее.

Я села в карету. Закрывает глаза.

Внутри было тихо. Хуана молчала.

Но я чувствовала — она слушает и ждёт, пока я уйду.

Надеется, что снова станет единоличной хозяйкой этого тела, но тому не бывать. Я уже понимала: в конце останется только один.

И я не знаю, захочу ли я уходить, когда рожу ребёнка.

Когда увижу дочек, которыми Хуана почти не занималась. Сначала — дети. Потом — всё остальное.

Воск.

Тишина. Иконы — нет, не иконы, католические распятия, Мадонны с младенцами, святые в золотых ризах.

Витражные окна бросали на каменный пол разноцветные пятна — красные, синие, жёлтые.

Я опустилась на колени перед алтарём. Жестокая, непривычная поза — в этом теле колени болели уже через минуту. Но я терпела.

— Господи, — прошептала я по-русски, а потом спохватилась и повторила на том языке, который помнила Хуана, — *Domine, exaudi me.*

Тишина. Она молчала.

И вдруг — как удар под дых — видение.

Я не увидела его глазами. Я почувствовала. Телом. Кожей. Костями, всем внутренним существом.

Филипп лежит в грязной постели. Не в нашей — в какой-то чужой, в трактире, куда он заехал по пути с охоты. Или где-то ещё, я не поняла сразу.

Его трясёт. Лоб мокрый, горячий. Глаза запали, губы потрескались. Рядом — перепуганный слуга и лекарь, который разводит руками.

«Брюшной тиф, — говорю я себе профессиональным, холодным голосом. — Инкубационный период грязная вода антибиотиков нет умрёт через неделю».

И он умирает.

Я вижу его лицо в момент смерти — красивое даже в агонии. Глаза открыты. Он смотрит в потолок и шепчет: «Хуана прости»

Но тогда слишком поздно.

А потом — другое.

Я, в этом же малиновом платье, стою над его гробом. Гроб открыт. Филипп лежит в парадном камзоле, с мечом, с орденами. Красивый. Мёртвый.

А я — беременная. Живот уже заметен. Пятый месяц? Шестой?

Тот ребёнок, которого я вымолила вчера ночью, растёт во мне, я это чувствовала. И я не хотела его терять даже из-за видений.

Но я не могу похоронить его отца, иначе моя собственная судьба станет незавидной.

Не могу оставить Филиппа умирать.

Потому что, если я признаю, что он мёртв — трон отойдёт моему отцу. Или сыну. А меня упекут в монастырь.

Я приказываю везти его тело.

Сначала в карете. Потом — на лошади, потому что карета ломается. Потом — пешком, потому что лошадидохнут.

Я везу его девять месяцев.

Девять месяцев трупного запаха, который пропитал мои платья, мои волосы, мою кожу.

Моего сына, которого я родила и оставила на попечении

нянек.

Девять месяцев сплетен: «Королева сошла с ума. Она возит с собой мертвеца. Она целует его синие губы. Она разговаривает с ним по ночам».

Я не целую. Я не разговариваю. Я просто не могу его отпустить. Потому что, если отпущу — всё кончится. И моя власть.

И моя свобода. И мой ребёнок, которого отдадут, уже отдали, чужим людям.

И мои дочери, с которыми я больше не увижусь.

Я рожала сына в бесконечной дороге. В холодном замке вассала, где пахло потом и кислым пивом.

Служанка принимала роды дрожащими руками. Она ничего не умела, кроме как наблюдать, это были её первые роды. У королевы.

Если я не рожу, умру, её сожгут, как ведьму.

Я кричала, но не от боли. От ужаса.

Потому что когда я держала на руках младенца — мальчика, живого, тёплого, с кулачками размером с виноградину — я понимала: он не спасёт меня.

Его заберут.

Как и старших.

Как и всех.

А меня запрут в монастыре. В Тордесильясе.

В башне без окон. Где я буду смотреть на стены двадцать лет. Где я буду вспоминать лицо мужа — живое, красивое,

насмешливое. Где я буду шептать его имя, пока не сотру язык.

«Филипп. Филипп. Филипп».

А придворные будут писать в хрониках: «Хуана Безумная. Королева, которая сошла с ума от любви».

— Нет! — закричала я.

Видение схлопнулось. Я сидела на каменном полу церкви, вся мокрая от пота, сжимая в руках подсвечник. Фрейлины стояли у входа, бледные, перепуганные.

— Ваше величество — начала Петрона Манаскес, давая знак прочим не подходить.

— Выйдите! — заорала я. — Все вон!

Они выбежали. Я осталась одна.

Перед алтарём. Перед распятием. Перед Мадонной, которая смотрела на меня мозаичными, равнодушными глазами.

— Это не случится, — прошептала я. — Я не дам. Я не позволю ему умереть. Я не позволю запереть меня.

Но голос изнутри — тот, другой, Хуаны — ответил:

«Это уже случилось. Это моя судьба. А теперь — твоя».

И безумный смех, продирающий до костей, тихий, и оттого ещё более зловещий.

— Нет!

Я вцепилась в скамью. Костяшки побелели.

«Брось монетку в ведро, — вспомнилось мне. — Возьми чужую судьбу. Ту, кому ты сможешь помочь».

Помочь?

Как я могу помочь женщине, которую заперут в башне на много лет? Как я могу помочь мёртвому мужу? Как я могу помочь ребёнку, которого ей не отдадут, которого настроят против матери?

Я — акушерка. Я умею принимать роды. Я умею зашивать разрывы. Я умею говорить умирающим женщинам: «Дышите, милая, дышите, сейчас всё пройдёт».

Я не умею воскрешать мёртвых.

Я не умею останавливать, а тем более переписывать историю.

Я поднялась на ноги. Ноги дрожали. В голове гудело.

— Значит, — сказала я вслух, обращаясь к распятию, к Мадонне, к Хуане, которая смотрела изнутри, — значит, я должна его спасти.

Но как?

Я закрыла глаза. И увидела лицо Филиппа. Живое. Насмешливое. То, которое было вчера, когда он шептал: «Ты одержима».

— Я вылечу тебя, — прошептала я. — Даже если ты не захочешь. Даже если ты будешь брыкаться. Я знаю, что такое тиф. Я знаю, как его лечить. У меня есть знания, которых нет у ваших врачей.

Ага, но нет лекарств. Антибиотиков.

Тогда я сделаю так, чтобы он не заболел.

А если не вылечу — если история возьмёт своё — то я не повезу его тело.

Я закопаю его.

И пойду в монастырь сама. На время. Притворюсь покорной, а потом вернусь, как покорная королева-мать, слушающая своих министров. Отрёкшаяся в пользу сына.

Но прежде — я напишу письма папе римскому. Если получится, подниму восстание. Я сделаю всё, чтобы мои дети остались со мной.

Потому что я не Хуана Безумная.

Я Анна Сергеевна Стронова.

Анна, которая двадцать лет не могла родить. Анна, которая видела смерть. Анна, которая знает: чудо случается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Я перекрестилась. Не католическим крестом — справа налево, а своим, русским, привычным. Пусть простят мне святые эту ересь.

Я научусь здешним обычаям, всё будет благопристойно.

— Благослови, Господи, — прошептала я. — И помоги не сойти с ума по-настоящему.

Я вышла из церкви. Фрейлины ждали, прижавшись к стене.

— Едем во дворец, — сказала я. — И пришлите ко мне лекаря. Мне нужно поговорить с ним кое о чём.

— Но, ваше величество вам нездоровится?

Петрона Манаскес считала, что раз она управляет моим двором, то и мной тоже. Потому что я неразумна.

— Я знаю, — я улыbnулась и посмотрела ей в глаза. —

Мы готовимся заранее.

Я села в карету. Закрыла глаза.

Внутри было тихо. Хуана молчала.

Но я чувствовала — она слушает и ждёт, пока я уйду.

Надеется, что снова станет единоличной хозяйкой этого тела, но тому не бывать. Я уже понимала: в конце останется только один.

И я не знаю, захочу ли я уходить, когда рожу ребёнка.

Когда увижу дочек, которыми Хуана почти не занималась.

Сначала — дети. Потом — всё остальное.

Воск.

Тишина. Иконы — нет, не иконы, католические распятия, Мадонны с младенцами, святые в золотых ризах.

Витражные окна бросали на каменный пол разноцветные пятна — красные, синие, жёлтые.

Я опустилась на колени перед алтарём. Жестокая, непривычная поза — в этом теле колени болели уже через минуту. Но я терпела.

— Господи, — прошептала я по-русски, а потом спохватилась и повторила на том языке, который помнила Хуана, — *Domine, exaudi me.*

Тишина. Она молчала.

И вдруг — как удар под дых — видение.

Я не увидела его глазами. Я почувствовала. Телом. Кожей. Костями, всем внутренним существом.

Филипп лежит в грязной постели. Не в нашей — в ка-

кой-то чужой, в трактире, куда он заехал по пути с охоты. Или где-то ещё, я не поняла сразу.

Его трясёт. Лоб мокрый, горячий. Глаза запали, губы потрескались. Рядом — перепуганный слуга и лекарь, который разводит руками.

«Брюшной тиф, — говорю я себе профессиональным, холодным голосом. — Инкубационный период грязная вода антибиотиков нет умрёт через неделю».

И он умирает.

Я вижу его лицо в момент смерти — красивое даже в агонии. Глаза открыты. Он смотрит в потолок и шепчет: «Хуана прости»

Но тогда слишком поздно.

А потом — другое.

Я, в этом же малиновом платье, стою над его гробом. Гроб открыт. Филипп лежит в парадном камзоле, с мечом, с орденами. Красивый. Мёртвый.

А я — беременная. Живот уже заметен. Пятый месяц? Шестой?

Тот ребёнок, которого я вымолила вчера ночью, растёт во мне, я это чувствовала. И я не хотела его терять даже из-за видений.

Но я не могу похоронить его отца, иначе моя собственная судьба станет незавидной.

Не могу оставить Филиппа умирать.

Потому что, если я признаю, что он мёртв — трон отойдёт

моему отцу. Или сыну. А меня упекут в монастырь.

Я приказываю везти его тело.

Сначала в карете. Потом — на лошади, потому что карета ломается. Потом — пешком, потому что лошадидохнут.

Я везу его девять месяцев.

Девять месяцев трупного запаха, который пропитал мои платья, мои волосы, мою кожу.

Моего сына, которого я родила и оставила на попечении нянек.

Девять месяцев сплетен: «Королева сошла с ума. Она возит с собой мертвеца. Она целует его синие губы. Она разговаривает с ним по ночам».

Я не целую. Я не разговариваю. Я просто не могу его отпустить. Потому что, если отпущу — всё кончится. И моя власть.

И моя свобода. И мой ребёнок, которого отдадут, уже отдали, чужим людям.

И мои дочери, с которыми я больше не увижусь.

Я рожала сына в бесконечной дороге. В холодном замке вассала, где пахло потом и кислым пивом.

Служанка принимала роды дрожащими руками. Она ничего не умела, кроме как наблюдать, это были её первые роды. У королевы.

Если я не рожу, умру, её сожгут, как ведьму.

Я кричала, но не от боли. От ужаса.

Потому что когда я держала на руках младенца — маль-

чика, живого, тёплого, с кулачками размером с виноградину — я понимала: он не спасёт меня.

Его заберут.

Как и старших.

Как и всех.

А меня запрут в монастыре. В Тордесильясе.

В башне без окон. Где я буду смотреть на стены двадцать лет. Где я буду вспоминать лицо мужа — живое, красивое, насмешливое. Где я буду шептать его имя, пока не сотру язык.

«Филипп. Филипп. Филипп».

А придворные будут писать в хрониках: «Хуана Безумная. Королева, которая сошла с ума от любви».

— Нет! — закричала я.

Видение схлопнулось. Я сидела на каменном полу церкви, вся мокрая от пота, сжимая в руках подсвечник. Фрейлины стояли у входа, бледные, перепуганные.

— Ваше величество — начала Петрона Манаскес, давая знак прочим не подходить.

— Выйдите! — заорала я. — Все вон!

Они выбежали. Я осталась одна.

Перед алтарём. Перед распятием. Перед Мадонной, которая смотрела на меня мозаичными, равнодушными глазами.

— Это не случится, — прошептала я. — Я не дам. Я не позволю ему умереть. Я не позволю запереть меня.

Но голос изнутри — тот, другой, Хуаны — ответил:

«Это уже случилось. Это моя судьба. А теперь — твоя».

И безумный смех, продирающий до костей, тихий, и оттого ещё более зловещий.

— Нет!

Я вцепилась в скамью. Костяшки побелели.

«Брось монетку в ведро, — вспомнилось мне. — Возьми чужую судьбу. Ту, кому ты сможешь помочь».

Помочь?

Как я могу помочь женщине, которую запрут в башне на много лет? Как я могу помочь мёртвому мужу? Как я могу помочь ребёнку, которого ей не отдадут, которого настроят против матери?

Я — акушерка. Я умею принимать роды. Я умею зашивать разрывы. Я умею говорить умирающим женщинам: «Дышите, милая, дышите, сейчас всё пройдёт».

Я не умею воскрешать мёртвых.

Я не умею останавливать, а тем более переписывать историю.

Я поднялась на ноги. Ноги дрожали. В голове гудело.

— Значит, — сказала я вслух, обращаясь к распятию, к Мадонне, к Хуане, которая смотрела изнутри, — значит, я должна его спасти.

Но как?

Я закрыла глаза. И увидела лицо Филиппа. Живое. Насмешливое. То, которое было вчера, когда он шептал: «Ты одержима».

— Я вылечу тебя, — прошептала я. — Даже если ты не захочешь. Даже если ты будешь брыкаться. Я знаю, что такое тиф. Я знаю, как его лечить. У меня есть знания, которых нет у ваших лекарей.

Ага, но нет лекарств. Антибиотиков.

Тогда я сделаю так, чтобы он не заболел.

А если не вылечу — если история возьмёт своё — то я не повезу его тело.

Я закопаю его.

И пойду в монастырь сама. На время. Притворюсь покорной, а потом вернусь, как покорная королева-мать, слушающая своих министров. Отрёкшаяся в пользу сына.

Но прежде — я напишу письма папе римскому. Если получится, подниму восстание. Я сделаю всё, чтобы мои дети остались со мной.

Потому что я не Хуана Безумная.

Я Анна Сергеевна Стронова.

Анна, которая двадцать лет не могла родить. Анна, которая видела смерть. Анна, которая знает: чудо случается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Я перекрестилась. Не католическим крестом — справа налево, а своим, русским, привычным. Пусть простят мне святые эту ересь.

Я научусь здешним обычаям, всё будет благопристойно.

— Благослови, Господи, — прошептала я. — И помоги не сойти с ума по-настоящему.

Я вышла из церкви. Фрейлины ждали, прижавшись к стене.

— Едем во дворец, — сказала я. — И пришлите ко мне лекаря. Мне нужно поговорить с ним кое о чём.

— Но, ваше величество вам нездоровится?

Петрона Манаскес считала, что раз она управляет моим двором, то и мной тоже. Потому что я неразумна.

— Я знаю, — я улыбнулась и посмотрела ей в глаза. — Мы готовимся заранее.

Я села в карету. Закрыла глаза.

Внутри было тихо. Хуана молчала.

Но я чувствовала — она слушает и ждёт, пока я уйду.

Надеется, что снова станет единоличной хозяйкой этого тела, но тому не бывать. Я уже понимала: в конце останется только один.

И я не знаю, захочу ли я уходить, когда рожу ребёнка.

Когда увижу дочек, которыми Хуана почти не занималась.

Сначала — дети. Потом — всё остальное.

Воск.

Тишина. Иконы — нет, не иконы, католические распятия, Мадонны с младенцами, святые в золотых ризах.

Витражные окна бросали на каменный пол разноцветные пятна — красные, синие, жёлтые.

Я опустилась на колени перед алтарём. Жестокая, непривычная поза — в этом теле колени болели уже через минуту. Но я терпела.

— Господи, — прошептала я по-русски, а потом спохватилась и повторила на том языке, который помнила Хуана, — Domine, exaudi me.

Тишина. Она молчала.

И вдруг — как удар под дых — видение.

Я не увидела его глазами. Я почувствовала. Телом. Кожей. Костями, всем внутренним существом.

Филипп лежит в грязной постели. Не в нашей — в какой-то чужой, в трактире, куда он заехал по пути с охоты. Или где-то ещё, я не поняла сразу.

Его трясёт. Лоб мокрый, горячий. Глаза запали, губы потрескались. Рядом — перепуганный слуга и лекарь, который разводит руками.

«Брюшной тиф, — говорю я себе профессиональным, холодным голосом. — Инкубационный период грязная вода антибиотиков нет умрёт через неделю».

И он умирает.

Я вижу его лицо в момент смерти — красивое даже в агонии. Глаза открыты. Он смотрит в потолок и шепчет: «Хуана прости»

Но тогда слишком поздно.

А потом — другое.

Я, в этом же малиновом платье, стою над его гробом. Гроб открыт. Филипп лежит в парадном камзоле, с мечом, с орденами. Красивый. Мёртвый.

А я — беременная. Живот уже заметен. Пятый месяц?

Шестой?

Тот ребёнок, которого я вымолила вчера ночью, растёт во мне, я это чувствовала. И я не хотела его терять даже из-за видений.

Но я не могу похоронить его отца, иначе моя собственная судьба станет незавидной.

Не могу оставить Филиппа умирать.

Потому что, если я признаю, что он мёртв — трон отойдёт моему отцу. Или сыну. А меня упекут в монастырь.

Я приказываю везти его тело.

Сначала в карете. Потом — на лошади, потому что карета ломается. Потом — пешком, потому что лошадидохнут.

Я везу его девять месяцев.

Девять месяцев трупного запаха, который пропитал мои платья, мои волосы, мою кожу.

Моего сына, которого я родила и оставила на попечении нянек.

Девять месяцев сплетен: «Королева сошла с ума. Она возит с собой мертвеца. Она целует его синие губы. Она разговаривает с ним по ночам».

Я не целую. Я не разговариваю. Я просто не могу его отпустить. Потому что, если отпущу — всё кончится. И моя власть.

И моя свобода. И мой ребёнок, которого отдадут, уже отдали, чужим людям.

И мои дочери, с которыми я больше не увижусь.

Я рожала сына в бесконечной дороге. В холодном замке вассала, где пахло потом и кислым пивом.

Служанка принимала роды дрожащими руками. Она ничего не умела, кроме как наблюдать, это были её первые роды. У королевы.

Если я не рожу, умру, её сожгут, как ведьму.

Я кричала, но не от боли. От ужаса.

Потому что когда я держала на руках младенца — мальчика, живого, тёплого, с кулачками размером с виноградину — я понимала: он не спасёт меня.

Его заберут.

Как и старших.

Как и всех.

А меня запрут в монастыре. В Тордесильясе.

В башне без окон. Где я буду смотреть на стены двадцать лет. Где я буду вспоминать лицо мужа — живое, красивое, насмешливое. Где я буду шептать его имя, пока не сотру язык.

«Филипп. Филипп. Филипп».

А придворные будут писать в хрониках: «Хуана Безумная. Королева, которая сошла с ума от любви».

— Нет! — закричала я.

Видение схлопнулось. Я сидела на каменном полу церкви, вся мокрая от пота, сжимая в руках подсвечник. Фрейлины стояли у входа, бледные, перепуганные.

— Ваше величество — начала Петрона Манаскес, давая

знак прочим не подходить.

— Выйдите! — заорала я. — Все вон!

Они выбежали. Я осталась одна.

Перед алтарём. Перед распятием. Перед Мадонной, которая смотрела на меня мозаичными, равнодушными глазами.

— Это не случится, — прошептала я. — Я не дам. Я не позволю ему умереть. Я не позволю запереть меня.

Но голос изнутри — тот, другой, Хуаны — ответил:

«Это уже случилось. Это моя судьба. А теперь — твоя».

И безумный смех, продирающий до костей, тихий, и оттого ещё более зловещий.

— Нет!

Я вцепилась в скамью. Костяшки побелели.

«Брось монетку в ведро, — вспомнилось мне. — Возьми чужую судьбу. Ту, кому ты сможешь помочь».

Помочь?

Как я могу помочь женщине, которую запрут в башне на много лет? Как я могу помочь мёртвому мужу? Как я могу помочь ребёнку, которого ей не отдадут, которого настроят против матери?

Я — акушерка. Я умею принимать роды. Я умею зашивать разрывы. Я умею говорить умирающим женщинам: «Дышите, милая, дышите, сейчас всё пройдёт».

Я не умею воскрешать мёртвых.

Я не умею останавливать, а тем более переписывать историю.

Я поднялась на ноги. Ноги дрожали. В голове гудело.

— Значит, — сказала я вслух, обращаясь к распятию, к Мадонне, к Хуане, которая смотрела изнутри, — значит, я должна его спасти.

Но как?

Я закрыла глаза. И увидела лицо Филиппа. Живое. Насмешливое. То, которое было вчера, когда он шептал: «Ты одержима».

— Я вылечу тебя, — прошептала я. — Даже если ты не захочешь. Даже если ты будешь брыкаться. Я знаю, что такое тиф. Я знаю, как его лечить. У меня есть знания, которых нет у ваших лекарей.

Ага, но нет лекарств. Антибиотиков.

Тогда я сделаю так, чтобы он не заболел.

А если не вылечу — если история возьмёт своё — то я не повезу его тело.

Я закопаю его.

И пойду в монастырь сама. На время. Притворюсь покорной, а потом вернусь, как покорная королева-мать, слушающая своих министров. Отрёкшаяся в пользу сына.

Но прежде — я напишу письма папе римскому. Если получится, подниму восстание. Я сделаю всё, чтобы мои дети остались со мной.

Потому что я не Хуана Безумная.

Я Анна Сергеевна Стронова.

Анна, которая двадцать лет не могла родить. Анна, кото-

рая видела смерть. Анна, которая знает: чудо случается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Я перекрестилась. Не католическим крестом — справа налево, а своим, русским, привычным. Пусть простят мне святые эту ересь.

Я научусь здешним обычаям, всё будет благопристойно.

— Благослови, Господи, — прошептала я. — И помоги не сойти с ума по-настоящему.

Я вышла из церкви. Фрейлины ждали, прижавшись к стене.

— Едем во дворец, — сказала я. — И пришлите ко мне лекаря. Мне нужно поговорить с ним кое о чём.

— Но, ваше величество вам нездоровится?

Петрона Манаскес считала, что раз она управляет моим двором, то и мной тоже. Потому что я неразумна.

— Я знаю, — я улыбнулась и посмотрела ей в глаза. — Мы готовимся заранее.

Я села в карету. Закрыла глаза.

Внутри было тихо. Хуана молчала.

Но я чувствовала — она слушает и ждёт, пока я уйду.

Надеется, что снова станет единоличной хозяйкой этого тела, но тому не бывать. Я уже понимала: в конце останется только один.

И я не знаю, захочу ли я уходить, когда рожу ребёнка.

Когда увижу дочек, которыми Хуана почти не занималась.

Сначала — дети. Потом — всё остальное.

Воск.

Тишина. Иконы — нет, не иконы, католические распятия, Мадонны с младенцами, святые в золотых ризах.

Витражные окна бросали на каменный пол разноцветные пятна — красные, синие, жёлтые.

Я опустилась на колени перед алтарём. Жестокая, непривычная поза — в этом теле колени болели уже через минуту. Но я терпела.

— Господи, — прошептала я по-русски, а потом спохватилась и повторила на том языке, который помнила Хуана, — Domine, exaudi me.

Тишина. Она молчала.

И вдруг — как удар под дых — видение.

Я не увидела его глазами. Я почувствовала. Телом. Кожей. Костями, всем внутренним существом.

Филипп лежит в грязной постели. Не в нашей — в какой-то чужой, в трактире, куда он заехал по пути с охоты. Или где-то ещё, я не поняла сразу.

Его трясёт. Лоб мокрый, горячий. Глаза запали, губы потрескались. Рядом — перепуганный слуга и лекарь, который разводит руками.

«Брюшной тиф, — говорю я себе профессиональным, холодным голосом. — Инкубационный период грязная вода антибиотиков нет умрёт через неделю».

И он умирает.

Я вижу его лицо в момент смерти — красивое даже в аго-

нии. Глаза открыты. Он смотрит в потолок и шепчет: «Хуана прости»

Но тогда слишком поздно.

А потом — другое.

Я, в этом же малиновом платье, стою над его гробом. Гроб открыт. Филипп лежит в парадном камзоле, с мечом, с орденами. Красивый. Мёртвый.

А я — беременная. Живот уже заметен. Пятый месяц? Шестой?

Тот ребёнок, которого я вымолила вчера ночью, растёт во мне, я это чувствовала. И я не хотела его терять даже из-за видений.

Но я не могу похоронить его отца, иначе моя собственная судьба станет незавидной.

Не могу оставить Филиппа умирать.

Потому что, если я признаю, что он мёртв — трон отойдёт моему отцу. Или сыну. А меня упекут в монастырь.

Я приказываю везти его тело.

Сначала в карете. Потом — на лошади, потому что карета ломается. Потом — пешком, потому что лошадидохнут.

Я везу его девять месяцев.

Девять месяцев трупного запаха, который пропитал мои платья, мои волосы, мою кожу.

Моего сына, которого я родила и оставила на попечении нянек.

Девять месяцев сплетен: «Королева сошла с ума. Она во-

зит с собой мертвеца. Она целует его синие губы. Она разговаривает с ним по ночам».

Я не целую. Я не разговариваю. Я просто не могу его отпустить. Потому что, если отпущу — всё кончится. И моя власть.

И моя свобода. И мой ребёнок, которого отдадут, уже отдали, чужим людям.

И мои дочери, с которыми я больше не увижусь.

Я рожала сына в бесконечной дороге. В холодном замке вассала, где пахло потом и кислым пивом.

Служанка принимала роды дрожащими руками. Она ничего не умела, кроме как наблюдать, это были её первые роды. У королевы.

Если я не рожу, умру, её сожгут, как ведьму.

Я кричала, но не от боли. От ужаса.

Потому что когда я держала на руках младенца — мальчика, живого, тёплого, с кулачками размером с виноградину — я понимала: он не спасёт меня.

Его заберут.

Как и старших.

Как и всех.

А меня запрут в монастыре. В Тордесильясе.

В башне без окон. Где я буду смотреть на стены двадцать лет. Где я буду вспоминать лицо мужа — живое, красивое, насмешливое. Где я буду шептать его имя, пока не сотру язык.

«Филипп. Филипп. Филипп».

А придворные будут писать в хрониках: «Хуана Безумная. Королева, которая сошла с ума от любви».

— Нет! — закричала я.

Видение схлопнулось. Я сидела на каменном полу церкви, вся мокрая от пота, сжимая в руках подсвечник. Фрейлины стояли у входа, бледные, перепуганные.

— Ваше величество — начала Петрона Манаскес, давая знак прочим не подходить.

— Выйдите! — заорала я. — Все вон!

Они выбежали. Я осталась одна.

Перед алтарём. Перед распятием. Перед Мадонной, которая смотрела на меня мозаичными, равнодушными глазами.

— Это не случится, — прошептала я. — Я не дам. Я не позволю ему умереть. Я не позволю запереть меня.

Но голос изнутри — тот, другой, Хуаны — ответил:

«Это уже случилось. Это моя судьба. А теперь — твоя».

И безумный смех, продирающий до костей, тихий, и оттого ещё более зловещий.

— Нет!

Я вцепилась в скамью. Костяшки побелели.

«Брось монетку в ведро, — вспомнилось мне. — Возьми чужую судьбу. Ту, кому ты сможешь помочь».

Помочь?

Как я могу помочь женщине, которую запрут в башне на много лет? Как я могу помочь мёртвому мужу? Как я могу

помочь ребёнку, которого ей не отдадут, которого настроят против матери?

Я — акушерка. Я умею принимать роды. Я умею зашивать разрывы. Я умею говорить умирающим женщинам: «Дышите, милая, дышите, сейчас всё пройдёт».

Я не умею воскрешать мёртвых.

Я не умею останавливать, а тем более переписывать историю.

Я поднялась на ноги. Ноги дрожали. В голове гудело.

— Значит, — сказала я вслух, обращаясь к распятию, к Мадонне, к Хуане, которая смотрела изнутри, — значит, я должна его спасти.

Но как?

Я закрыла глаза. И увидела лицо Филиппа. Живое. Насмешливое. То, которое было вчера, когда он шептал: «Ты одержима».

— Я вылечу тебя, — прошептала я. — Даже если ты не захочешь. Даже если ты будешь брыкаться. Я знаю, что такое тиф. Я знаю, как его лечить. У меня есть знания, которых нет у ваших врачей.

Ага, но нет лекарств. Антибиотиков.

Тогда я сделаю так, чтобы он не заболел.

А если не вылечу — если история возьмёт своё — то я не повезу его тело.

Я закопаю его.

И пойду в монастырь сама. На время. Притворюсь покор-

ной, а потом вернусь, как покорная королева-мать, слушающая своих министров. Отрёкшаяся в пользу сына.

Но прежде — я напишу письма папе римскому. Если получится, подниму восстание. Я сделаю всё, чтобы мои дети остались со мной.

Потому что я не Хуана Безумная.

Я Анна Сергеевна Стронова.

Анна, которая двадцать лет не могла родить. Анна, которая видела смерть. Анна, которая знает: чудо случается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Я перекрестилась. Не католическим крестом — справа налево, а своим, русским, привычным. Пусть простят мне святые эту ересь.

Я научусь здешним обычаям, всё будет благопристойно.

— Благослови, Господи, — прошептала я. — И помоги не сойти с ума по-настоящему.

Я вышла из церкви. Фрейлины ждали, прижавшись к стене.

— Едем во дворец, — сказала я. — И пришлите ко мне лекаря. Мне нужно поговорить с ним кое о чём.

— Но, ваше величество вам нездоровится?

Петрона Манаскес считала, что раз она управляет моим двором, то и мной тоже. Потому что я неразумна.

— Я знаю, — я улыbnулась и посмотрела ей в глаза. — Мы готовимся заранее.

Я села в карету. Закрывает глаза.

Внутри было тихо. Хуана молчала.

Но я чувствовала — она слушает и ждёт, пока я уйду.

Надеется, что снова станет единоличной хозяйкой этого тела, но тому не бывать. Я уже понимала: в конце останется только один.

И я не знаю, захочу ли я уходить, когда рожу ребёнка.

Когда увижу дочек, которыми Хуана почти не занималась.

Сначала — дети. Потом — всё остальное.

Воск.

Тишина. Иконы — нет, не иконы, католические распятия, Мадонны с младенцами, святые в золотых ризах.

Витражные окна бросали на каменный пол разноцветные пятна — красные, синие, жёлтые.

Я опустилась на колени перед алтарём. Жестокая, непривычная поза — в этом теле колени болели уже через минуту. Но я терпела.

— Господи, — прошептала я по-русски, а потом спохватилась и повторила на том языке, который помнила Хуана, — *Domine, exaudi me.*

Тишина. Она молчала.

И вдруг — как удар под дых — видение.

Я не увидела его глазами. Я почувствовала. Телом. Кожей. Костями, всем внутренним существом.

Филипп лежит в грязной постели. Не в нашей — в какой-то чужой, в трактире, куда он заехал по пути с охоты. Или где-то ещё, я не поняла сразу.

Его трясёт. Лоб мокрый, горячий. Глаза запали, губы потрескались. Рядом — перепуганный слуга и лекарь, который разводит руками.

«Брюшной тиф, — говорю я себе профессиональным, холодным голосом. — Инкубационный период грязная вода антибиотиков нет умрёт через неделю».

И он умирает.

Я вижу его лицо в момент смерти — красивое даже в агонии. Глаза открыты. Он смотрит в потолок и шепчет: «Хуана прости»

Но тогда слишком поздно.

А потом — другое.

Я, в этом же малиновом платье, стою над его гробом. Гроб открыт. Филипп лежит в парадном камзоле, с мечом, с орденами. Красивый. Мёртвый.

А я — беременная. Живот уже заметен. Пятый месяц? Шестой?

Тот ребёнок, которого я вымолила вчера ночью, растёт во мне, я это чувствовала. И я не хотела его терять даже из-за видений.

Но я не могу похоронить его отца, иначе моя собственная судьба станет незавидной.

Не могу оставить Филиппа умирать.

Потому что, если я признаю, что он мёртв — трон отойдёт моему отцу. Или сыну. А меня упекут в монастырь.

Я приказываю везти его тело.

Сначала в карете. Потом — на лошади, потому что карета ломается. Потом — пешком, потому что лошадидохнут.

Я везу его девять месяцев.

Девять месяцев трупного запаха, который пропитал мои платья, мои волосы, мою кожу.

Моего сына, которого я родила и оставила на попечении нянек.

Девять месяцев сплетен: «Королева сошла с ума. Она возит с собой мертвеца. Она целует его синие губы. Она разговаривает с ним по ночам».

Я не целую. Я не разговариваю. Я просто не могу его отпустить. Потому что, если отпущу — всё кончится. И моя власть.

И моя свобода. И мой ребёнок, которого отдадут, уже отдали, чужим людям.

И мои дочери, с которыми я больше не увижусь.

Я рожала сына в бесконечной дороге. В холодном замке вассала, где пахло потом и кислым пивом.

Служанка принимала роды дрожащими руками. Она ничего не умела, кроме как наблюдать, это были её первые роды. У королевы.

Если я не рожу, умру, её сожгут, как ведьму.

Я кричала, но не от боли. От ужаса.

Потому что когда я держала на руках младенца — мальчика, живого, тёплого, с кулачками размером с виноградину — я понимала: он не спасёт меня.

Его заберут.

Как и старших.

Как и всех.

А меня запрут в монастыре. В Тордесильясе.

В башне без окон. Где я буду смотреть на стены двадцать лет. Где я буду вспоминать лицо мужа — живое, красивое, насмешливое. Где я буду шептать его имя, пока не сотру язык.

«Филипп. Филипп. Филипп».

А придворные будут писать в хрониках: «Хуана Безумная. Королева, которая сошла с ума от любви».

— Нет! — закричала я.

Видение схлопнулось. Я сидела на каменном полу церкви, вся мокрая от пота, сжимая в руках подсвечник. Фрейлины стояли у входа, бледные, перепуганные.

— Ваше величество — начала Петрона Манаскес, давая знак прочим не подходить.

— Выйдите! — заорала я. — Все вон!

Они выбежали. Я осталась одна.

Перед алтарём. Перед распятием. Перед Мадонной, которая смотрела на меня мозаичными, равнодушными глазами.

— Это не случится, — прошептала я. — Я не дам. Я не позволю ему умереть. Я не позволю запереть меня.

Но голос изнутри — тот, другой, Хуаны — ответил:

«Это уже случилось. Это моя судьба. А теперь — твоя».

И безумный смех, продирающий до костей, тихий, и от-

того ещё более зловещий.

— Нет!

Я вцепилась в скамью. Костяшки побелели.

«Брось монетку в ведро, — вспомнилось мне. — Возьми чужую судьбу. Ту, кому ты сможешь помочь».

Помочь?

Как я могу помочь женщине, которую запрут в башне на много лет? Как я могу помочь мёртвому мужу? Как я могу помочь ребёнку, которого ей не отдадут, которого настроят против матери?

Я — акушерка. Я умею принимать роды. Я умею зашивать разрывы. Я умею говорить умирающим женщинам: «Дышите, милая, дышите, сейчас всё пройдёт».

Я не умею воскрешать мёртвых.

Я не умею останавливать, а тем более переписывать историю.

Я поднялась на ноги. Ноги дрожали. В голове гудело.

— Значит, — сказала я вслух, обращаясь к распятию, к Мадонне, к Хуане, которая смотрела изнутри, — значит, я должна его спасти.

Но как?

Я закрыла глаза. И увидела лицо Филиппа. Живое. Насмешливое. То, которое было вчера, когда он шептал: «Ты одержима».

— Я вылечу тебя, — прошептала я. — Даже если ты не захочешь. Даже если ты будешь брыкаться. Я знаю, что такое

тиф. Я знаю, как его лечить. У меня есть знания, которых нет у ваших лекарей.

Ага, но нет лекарств. Антибиотиков.

Тогда я сделаю так, чтобы он не заболел.

А если не вылечу — если история возьмёт своё — то я не повезу его тело.

Я закопаю его.

И пойду в монастырь сама. На время. Притворюсь покорной, а потом вернусь, как покорная королева-мать, слушающая своих министров. Отрёкшаяся в пользу сына.

Но прежде — я напишу письма папе римскому. Если получится, подниму восстание. Я сделаю всё, чтобы мои дети остались со мной.

Потому что я не Хуана Безумная.

Я Анна Сергеевна Стронова.

Анна, которая двадцать лет не могла родить. Анна, которая видела смерть. Анна, которая знает: чудо случается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Я перекрестилась. Не католическим крестом — справа налево, а своим, русским, привычным. Пусть простят мне святые эту ересь.

Я научусь здешним обычаям, всё будет благопристойно.

— Благослови, Господи, — прошептала я. — И помоги не сойти с ума по-настоящему.

Я вышла из церкви. Фрейлины ждали, прижавшись к стене.

— Едем во дворец, — сказала я. — И пришлите ко мне
лекаря. Мне нужно поговорить с ним кое о чём.

— Но, ваше величество вам нездоровится?

Петрона Манаскес считала, что раз она управляет моим
двором, то и мной тоже. Потому что я неразумна.

— Я знаю, — я улыбнулась и посмотрела ей в глаза. —
Мы готовимся заранее.

Я села в карету. Закрыла глаза.

Внутри было тихо. Хуана молчала.

Но я чувствовала — она слушает и ждёт, пока я уйду.

Надеется, что снова станет единоличной хозяйкой этого
тела, но тому не бывать. Я уже понимала: в конце останется
только один.

И я не знаю, захочу ли я уходить, когда рожу ребёнка.

Когда увижу дочек, которыми Хуана почти не занималась.

Сначала — дети. Потом — всё остальное.

Воск.

Тишина. Иконы — нет, не иконы, католические распятия,
Мадонны с младенцами, святые в золотых ризах.

Витражные окна бросали на каменный пол разноцветные
пятна — красные, синие, жёлтые.

Я опустилась на колени перед алтарём. Жестокая, непри-
вычная поза — в этом теле колени болели уже через минуту.
Но я терпела.

— Господи, — прошептала я по-русски, а потом спохва-
тилась и повторила на том языке, который помнила Хуана,

— Domine, exaudi me.

Тишина. Она молчала.

И вдруг — как удар под дых — видение.

Я не увидела его глазами. Я почувствовала. Телом. Кожей.

Костями, всем внутренним существом.

Филипп лежит в грязной постели. Не в нашей — в какой-то чужой, в трактире, куда он заехал по пути с охоты. Или где-то ещё, я не поняла сразу.

Его трясёт. Лоб мокрый, горячий. Глаза запали, губы потрескались. Рядом — перепуганный слуга и лекарь, который разводит руками.

«Брюшной тиф, — говорю я себе профессиональным, холодным голосом. — Инкубационный период грязная вода антибиотиков нет умрёт через неделю».

И он умирает.

Я вижу его лицо в момент смерти — красивое даже в агонии. Глаза открыты. Он смотрит в потолок и шепчет: «Хуана прости»

Но тогда слишком поздно.

А потом — другое.

Я, в этом же малиновом платье, стою над его гробом. Гроб открыт. Филипп лежит в парадном камзоле, с мечом, с орденами. Красивый. Мёртвый.

А я — беременная. Живот уже заметен. Пятый месяц? Шестой?

Тот ребёнок, которого я вымолила вчера ночью, растёт во

мне, я это чувствовала. И я не хотела его терять даже из-за видений.

Но я не могу похоронить его отца, иначе моя собственная судьба станет незавидной.

Не могу оставить Филиппа умирать.

Потому что, если я признаю, что он мёртв — трон отойдёт моему отцу. Или сыну. А меня упекут в монастырь.

Я приказываю везти его тело.

Сначала в карете. Потом — на лошади, потому что карета ломается. Потом — пешком, потому что лошадидохнут.

Я везу его девять месяцев.

Девять месяцев трупного запаха, который пропитал мои платья, мои волосы, мою кожу.

Моего сына, которого я родила и оставила на попечении нянек.

Девять месяцев сплетен: «Королева сошла с ума. Она возит с собой мертвеца. Она целует его синие губы. Она разговаривает с ним по ночам».

Я не целую. Я не разговариваю. Я просто не могу его отпустить. Потому что, если отпущу — всё кончится. И моя власть.

И моя свобода. И мой ребёнок, которого отдадут, уже отдали, чужим людям.

И мои дочери, с которыми я больше не увижусь.

Я рожала сына в бесконечной дороге. В холодном замке вассала, где пахло потом и кислым пивом.

Служанка принимала роды дрожащими руками. Она ничего не умела, кроме как наблюдать, это были её первые роды. У королевы.

Если я не рожу, умру, её сожгут, как ведьму.

Я кричала, но не от боли. От ужаса.

Потому что когда я держала на руках младенца — мальчика, живого, тёплого, с кулачками размером с виноградину — я понимала: он не спасёт меня.

Его заберут.

Как и старших.

Как и всех.

А меня запрут в монастыре. В Тордесильясе.

В башне без окон. Где я буду смотреть на стены двадцать лет. Где я буду вспоминать лицо мужа — живое, красивое, насмешливое. Где я буду шептать его имя, пока не сотру язык.

«Филипп. Филипп. Филипп».

А придворные будут писать в хрониках: «Хуана Безумная. Королева, которая сошла с ума от любви».

— Нет! — закричала я.

Видение схлопнулось. Я сидела на каменном полу церкви, вся мокрая от пота, сжимая в руках подсвечник. Фрейлины стояли у входа, бледные, перепуганные.

— Ваше величество — начала Петрона Манаскес, давая знак прочим не подходить.

— Выйдите! — заорала я. — Все вон!

Они выбежали. Я осталась одна.

Перед алтарём. Перед распятием. Перед Мадонной, которая смотрела на меня мозаичными, равнодушными глазами.

— Это не случится, — прошептала я. — Я не дам. Я не позволю ему умереть. Я не позволю запереть меня.

Но голос изнутри — тот, другой, Хуаны — ответил:

«Это уже случилось. Это моя судьба. А теперь — твоя».

И безумный смех, продирающий до костей, тихий, и оттого ещё более зловещий.

— Нет!

Я вцепилась в скамью. Костяшки побелели.

«Брось монетку в ведро, — вспомнилось мне. — Возьми чужую судьбу. Ту, кому ты сможешь помочь».

Помочь?

Как я могу помочь женщине, которую запрут в башне на много лет? Как я могу помочь мёртвому мужу? Как я могу помочь ребёнку, которого ей не отдадут, которого настроят против матери?

Я — акушерка. Я умею принимать роды. Я умею зашивать разрывы. Я умею говорить умирающим женщинам: «Дышите, милая, дышите, сейчас всё пройдёт».

Я не умею воскрешать мёртвых.

Я не умею останавливать, а тем более переписывать историю.

Я поднялась на ноги. Ноги дрожали. В голове гудело.

— Значит, — сказала я вслух, обращаясь к распятию, к

Мадонне, к Хуане, которая смотрела изнутри, — значит, я должна его спасти.

Но как?

Я закрыла глаза. И увидела лицо Филиппа. Живое. Насмешливое. То, которое было вчера, когда он шептал: «Ты одержима».

— Я вылечу тебя, — прошептала я. — Даже если ты не захочешь. Даже если ты будешь брыкаться. Я знаю, что такое тиф. Я знаю, как его лечить. У меня есть знания, которых нет у ваших врачей.

Ага, но нет лекарств. Антибиотиков.

Тогда я сделаю так, чтобы он не заболел.

А если не вылечу — если история возьмёт своё — то я не повезу его тело.

Я закопаю его.

И пойду в монастырь сама. На время. Притворюсь покорной, а потом вернусь, как покорная королева-мать, слушающая своих министров. Отрёкшаяся в пользу сына.

Но прежде — я напишу письма папе римскому. Если получится, подниму восстание. Я сделаю всё, чтобы мои дети остались со мной.

Потому что я не Хуана Безумная.

Я Анна Сергеевна Стронова.

Анна, которая двадцать лет не могла родить. Анна, которая видела смерть. Анна, которая знает: чудо случается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Я перекрестилась. Не католическим крестом — справа налево, а своим, русским, привычным. Пусть простят мне святые эту ересь.

Я научусь здешним обычаям, всё будет благопристойно.

— Благослови, Господи, — прошептала я. — И помоги не сойти с ума по-настоящему.

Я вышла из церкви. Фрейлины ждали, прижавшись к стене.

— Едем во дворец, — сказала я. — И пришлите ко мне лекаря. Мне нужно поговорить с ним кое о чём.

— Но, ваше величество вам нездоровится?

Петрона Манаскес считала, что раз она управляет моим двором, то и мной тоже. Потому что я неразумна.

— Я знаю, — я улыбнулась и посмотрела ей в глаза. — Мы готовимся заранее.

Я села в карету. Закрыла глаза.

Внутри было тихо. Хуана молчала.

Но я чувствовала — она слушает и ждёт, пока я уйду.

Надеется, что снова станет единоличной хозяйкой этого тела, но тому не бывать. Я уже понимала: в конце останется только один.

И я не знаю, захочу ли я уходить, когда рожу ребёнка.

Когда увижу дочек, которыми Хуана почти не занималась.

Сначала — дети. Потом — всё остальное.

Воск.

Тишина. Иконы — нет, не иконы, католические распятия,

Мадонны с младенцами, святые в золотых ризах.

Витражные окна бросали на каменный пол разноцветные пятна — красные, синие, жёлтые.

Я опустилась на колени перед алтарём. Жестокая, непривычная поза — в этом теле колени болели уже через минуту. Но я терпела.

— Господи, — прошептала я по-русски, а потом спохватилась и повторила на том языке, который помнила Хуана, — *Domine, exaudi me.*

Тишина. Она молчала.

И вдруг — как удар под дых — видение.

Я не увидела его глазами. Я почувствовала. Телом. Кожей. Костями, всем внутренним существом.

Филипп лежит в грязной постели. Не в нашей — в какой-то чужой, в трактире, куда он заехал по пути с охоты. Или где-то ещё, я не поняла сразу.

Его трясёт. Лоб мокрый, горячий. Глаза запали, губы потрескались. Рядом — перепуганный слуга и лекарь, который разводит руками.

«Брюшной тиф, — говорю я себе профессиональным, холодным голосом. — Инкубационный период грязная вода антибиотиков нет умрёт через неделю».

И он умирает.

Я вижу его лицо в момент смерти — красивое даже в агонии. Глаза открыты. Он смотрит в потолок и шепчет: «Хуана прости»

Но тогда слишком поздно.

А потом — другое.

Я, в этом же малиновом платье, стою над его гробом. Гроб открыт. Филипп лежит в парадном камзоле, с мечом, с орденами. Красивый. Мёртвый.

А я — беременная. Живот уже заметен. Пятый месяц? Шестой?

Тот ребёнок, которого я вымолила вчера ночью, растёт во мне, я это чувствовала. И я не хотела его терять даже из-за видений.

Но я не могу похоронить его отца, иначе моя собственная судьба станет незавидной.

Не могу оставить Филиппа умирать.

Потому что, если я признаю, что он мёртв — трон отойдёт моему отцу. Или сыну. А меня упекут в монастырь.

Я приказываю везти его тело.

Сначала в карете. Потом — на лошади, потому что карета ломается. Потом — пешком, потому что лошадидохнут.

Я везу его девять месяцев.

Девять месяцев трупного запаха, который пропитал мои платья, мои волосы, мою кожу.

Моего сына, которого я родила и оставила на попечении нянек.

Девять месяцев сплетен: «Королева сошла с ума. Она возит с собой мертвеца. Она целует его синие губы. Она разговаривает с ним по ночам».

Я не целую. Я не разговариваю. Я просто не могу его отпустить. Потому что, если отпущу — всё кончится. И моя власть.

И моя свобода. И мой ребёнок, которого отдадут, уже отдали, чужим людям.

И мои дочери, с которыми я больше не увижусь.

Я рожала сына в бесконечной дороге. В холодном замке вассала, где пахло потом и кислым пивом.

Служанка принимала роды дрожащими руками. Она ничего не умела, кроме как наблюдать, это были её первые роды. У королевы.

Если я не рожу, умру, её сожгут, как ведьму.

Я кричала, но не от боли. От ужаса.

Потому что когда я держала на руках младенца — мальчика, живого, тёплого, с кулачками размером с виноградину — я понимала: он не спасёт меня.

Его заберут.

Как и старших.

Как и всех.

А меня запрут в монастыре. В Тордесильясе.

В башне без окон. Где я буду смотреть на стены двадцать лет. Где я буду вспоминать лицо мужа — живое, красивое, насмешливое. Где я буду шептать его имя, пока не сотру язык.

«Филипп. Филипп. Филипп».

А придворные будут писать в хрониках: «Хуана Безумная.

Королева, которая сошла с ума от любви».

— Нет! — закричала я.

Видение схлопнулось. Я сидела на каменном полу церкви, вся мокрая от пота, сжимая в руках подсвечник. Фрейлины стояли у входа, бледные, перепуганные.

— Ваше величество — начала Петрона Манаскес, давая знак прочим не подходить.

— Выйдите! — заорала я. — Все вон!

Они выбежали. Я осталась одна.

Перед алтарём. Перед распятием. Перед Мадонной, которая смотрела на меня мозаичными, равнодушными глазами.

— Это не случится, — прошептала я. — Я не дам. Я не позволю ему умереть. Я не позволю запереть меня.

Но голос изнутри — тот, другой, Хуаны — ответил:

«Это уже случилось. Это моя судьба. А теперь — твоя».

И безумный смех, продирающий до костей, тихий, и оттого ещё более зловещий.

— Нет!

Я вцепилась в скамью. Костяшки побелели.

«Брось монетку в ведро, — вспомнилось мне. — Возьми чужую судьбу. Ту, кому ты сможешь помочь».

Помочь?

Как я могу помочь женщине, которую запрут в башне на много лет? Как я могу помочь мёртвому мужу? Как я могу помочь ребёнку, которого ей не отдадут, которого настроят против матери?

Я — акушерка. Я умею принимать роды. Я умею зашивать разрывы. Я умею говорить умирающим женщинам: «Дышите, милая, дышите, сейчас всё пройдёт».

Я не умею воскрешать мёртвых.

Я не умею останавливать, а тем более переписывать историю.

Я поднялась на ноги. Ноги дрожали. В голове гудело.

— Значит, — сказала я вслух, обращаясь к распятию, к Мадонне, к Хуане, которая смотрела изнутри, — значит, я должна его спасти.

Но как?

Я закрыла глаза. И увидела лицо Филиппа. Живое. Насмешливое. То, которое было вчера, когда он шептал: «Ты одержима».

— Я вылечу тебя, — прошептала я. — Даже если ты не захочешь. Даже если ты будешь брыкаться. Я знаю, что такое тиф. Я знаю, как его лечить. У меня есть знания, которых нет у ваших врачей.

Ага, но нет лекарств. Антибиотиков.

Тогда я сделаю так, чтобы он не заболел.

А если не вылечу — если история возьмёт своё — то я не повезу его тело.

Я закопаю его.

И пойду в монастырь сама. На время. Притворюсь покорной, а потом вернусь, как покорная королева-мать, слушающая своих министров. Отрёкшаяся в пользу сына.

Но прежде — я напишу письма папе римскому. Если получится, подниму восстание. Я сделаю всё, чтобы мои дети остались со мной.

Потому что я не Хуана Безумная.

Я Анна Сергеевна Стронова.

Анна, которая двадцать лет не могла родить. Анна, которая видела смерть. Анна, которая знает: чудо случается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Я перекрестилась. Не католическим крестом — справа налево, а своим, русским, привычным. Пусть простят мне святые эту ересь.

Я научусь здешним обычаям, всё будет благопристойно.

— Благослови, Господи, — прошептала я. — И помоги не сойти с ума по-настоящему.

Я вышла из церкви. Фрейлины ждали, прижавшись к стене.

— Едем во дворец, — сказала я. — И пришлите ко мне лекаря. Мне нужно поговорить с ним кое о чём.

— Но, ваше величество вам нездоровится?

Петрона Манаскес считала, что раз она управляет моим двором, то и мной тоже. Потому что я неразумна.

— Я знаю, — я улыbnулась и посмотрела ей в глаза. — Мы готовимся заранее.

Я села в карету. Закрывает глаза.

Внутри было тихо. Хуана молчала.

Но я чувствовала — она слушает и ждёт, пока я уйду.

Надеется, что снова станет единоличной хозяйкой этого тела, но тому не бывать. Я уже понимала: в конце останется только один.

И я не знаю, захочу ли я уходить, когда рожу ребёнка.
Когда увижу дочек, которыми Хуана почти не занималась.
Сначала — дети. Потом — всё остальное.

Глава 6. Звёзды любят хаос

Лекарь явился через четверть часа.

Я успела сменить платье — с малинового на тёмно-синее, почти чёрное, более строгое. Хуана очень любила его.

Строгость, граничащую с монашеством. Лишь при свете свечей в храме она успокаивалась и обретала если не смирение, то желание подстроиться под двор. Среди которого чувствовала себя чужой.

Сколько она здесь? Года три. И всё же этот яркий, просвещённый мир продолжал пугать её.

Волосы я убрала под сетку с жемчугом. Лицо припудрила, чтобы скрыть синяки под глазами.

Петрона Манаскес попыталась остаться в комнате «для приличия». Сказать, что поможет мне, если лекарь будет проявлять вольность.

Я посмотрела на неё так, что она попятилась.

— Оставь нас.

— Но ваше величество, синьор Венские — мужчинаИ притом у него репутация богоотступника даже по здешним меркам.

Петрона перекрестилась, косясь на тёмный угол, будто лекарь был чёртом и мог появиться оттуда.

— Он — лекарь. И я — замужняя женщина, которая проводит больше времени на коленях в церкви, чем на троне.

Что за грязные мысли у тебя, Петрона? Ступай.

Она вышла, поджав губы. Дверь закрылась с тихим, обиженным стуком, почти столкнувшись в дверях с тем, кого так опасалась.

Я осталась одна с Ламбертом Венские.

Он оказался не тем, кого я ожидала.

Никакой бородавки на носу, никакого грязного халата безумного алхимика.

Карлик лет сорока, худощавый, с умными, чуть насмешливыми глазами. Одет в чёрный бархат, на пальце — перстень с аметистом. Пахло от него лавандой и ещё чем-то горьким, аптечным.

— Ваше величество, очень рад, что вы пожелали меня видеть, — он поклонился низко, но без подобострастия. — Вы выглядите озабоченной, а я могу снять ваше бремя. Хотя бы его часть.

— Я выгляжу уставшей, синьор Венские. И у меня есть несколько вопросов к вам.

Он поднял бровь.

— Я слушаю, ваше величество. Если вы о гороскопе для вас, то он готов.

Я жестом указала на стул напротив. Сама села в кресло — тяжёлое, с высокой спинкой, обитое малиновым бархатом. Между нами был маленький столик с кувшином воды и двумя кубками.

Хуана, я вовремя вспомнила, боялась алхимии, магии, го-

роскопов, но беспокойство за себя и мужа оказалось сильнее предрассудков. Втайне она поручила местной знаменитости, а при бургундском дворе жили только такие, составить натальную карту.

Хотела знать, будет ли у неё сын, И привяжет ли наследник короля к Хуане.

— Вы готовы рассказать, что сулят мне ваши звёзды? — начала я. — А ещё вы готовите лекарства. Я ничего не перепутала?

— Всё верно, ваше величество, — он склонил голову. — Я изучаю влияние небесных тел на судьбу человека. И на его недуги. А также готовлю снадобья, чтобы эти недуги исцелить.

— Или чтобы от них избавиться, — уточнила я. — Говорят, ваши снадобья иногда позволяют безболезненно заснуть.

Ламберт посмотрел на меня с прищуром. Не испуганно — заинтересованно.

— Иногда одно и то же снадобье может и исцелить, и избавить от земной боли. Всё зависит от дозировки. Вы удивительно прозорливы, ваше величество.

— Вы опасный человек, синьор.

— Я полезный, ваше величество. Покойная тетка его величества, гранда Катрина, тоже так считала. Я лечил её от подагры.

Я кивнула. Информация всплыла из памяти Хуаны —

смутно, как сквозь воду.

Мать Филиппа, Мария Бургундская, умерла от падения с лошади, когда ему было три или четыре года. Мальчика воспитывала тётка.

— Мне нужен ваш совет, — сказала я. — Я хочу, чтобы вы огласили мой гороскоп. Немедленно. И посмотрели, вдруг он изменился.

— Ваше величество, — всё пристальнее вглядывался в меня противный карлик. — Ваше величество, я уже составлял его для вас четыре года назад и сейчас сделал это по вашей просьбе. Ничего не изменилось.

— Изменилось, — я посмотрела ему прямо в глаза. — Я изменилась. Я чувствую, что благословение Божье коснулось меня и вменило мне особую миссию.

Все знали об экзальтированности Хуаны, о её утешении в молитвах и постах, соблюдении ритуалов

Это усыпит бдительность собеседника.

Он помолчал. Потом кивнул, достал из сумки дощечку, грифель и замер, глядя в потолок.

— Что ж, я исполню монаршую волю с радостью. Дата и время вашего рождения мне известны. Час, когда вы позвали меня тоже, — он что-то быстро чертил, шепча цифры. — Очень интересно очень Боже, что я вижу?

— Что? — спросила я, чувствуя, как внутри холодеет.

— Два света, — сказал он тихо. — В одной душе. Два источника. Один — тёплый, воспалённый, любящий до безу-

мия. Это вы, ваше величество. Я помню этот свет по прошлому гороскопу. Он никуда не делся.

Ага, к сожалению, да.

— А второй?

Он поднял на меня глаза. В них было что-то вроде восхищения и ужаса одновременно.

— Холодный. Расчётливый. Спокойный как лёд. Он не принадлежит вашему рождению. Он пришёл извне. Как заноза. Или паразит. Он питается вашей жизненной силой, но при этом укрепляет вас? Я не понимаю.

Я молчала. Сердце стучало где-то в горле, будто кто-то невидимый положил руку мне на плечо и наклонившись к уху, прошептал: «Думала, никто не заметит?»

— Это опасно? — спросила я, притворившись непонимающей.

— Всё зависит от того, кто победит, — он отложил грифель. — Если победит ваш родной свет — тепло, любовь, страсть — вы останетесь собой. Но рискуете сойти с ума, как предсказывают звёзды. Вы и так на грани, ваше величество. Я вижу это.

— А если победит холодный?

— Вы станете другой. Разумной. Сильной. Но потеряете способность любить. По-настоящему, до безумия. Звёзды не любят такого, — он усмехнулся. — Звёзды любят хаос. Ваша душа, наконец, любит смятение.

Я сжала подлокотники кресла.

— Вы можете избавить меня от холода?

Ага, лучше знать заранее. Сидела, как на экзамене.

Ламберт надолго замолчал. Встал, подошёл к окну, посмотрел на серое небо. Потом сказал:

— Могу. Есть одно зелье. Оно выжигает чужеродные влияния. Душу — нет. Но наносное, пришлое — да.

— И что будет со мной? С моим чревом? Я должна дать его величеству наследника.

— Вы вернётесь к себе прежней. Будете молиться, плакать, ревновать. Будете пить успокоительные отвары, которые я для вас готовил. Но, — он повернулся, — вы не родите ещё одного ребёнка. Потому что скоро вы понесёте, вы, ваше величество. Я вижу это по вашему пульсу и по звёздам. Вы будете в тягости сыном.

Я не удивилась. Знала. Чувствовала.

— Сколько месяцев у меня есть? Когда это случится?

— Недели. Может, две. Ещё рано говорить. Но он будет крепким. Ваш сын. Если будет. Великим, возможно.

Да, Карл. Император Священной Римской империи. Кал по прозвищу «Проклятый». Кажется, я поняла почему.

Я кивнула. Положила руку на живот.

— Приготовьте это зелье.

Он прищурился.

— Вы уверены? Случится выкидыш. Вы не сможете зачать более.

— Я не буду его пить, — сказала я спокойно. — Я испытаю

его на ком-то другом.

Ламберт замер. Потом медленно улыбнулся — нехорошо, понимающе.

У короля Филиппа несколько официальных и прехорошеньких любовниц. Это в их постелях он так перетрутился, что ослаб и заболел.

Это они наперебой старались родить бастардов.

Это их семьи потом признали Хуану безумной и лишили короны.

Не выйдет.

Больше не прокатит, дамочки!

Я вас устраню . В духе этого времени: изящно и так, что все всё знают, но делают вид, будто в неведении.

Глава 7. Работа началась

— Вы и правда изменились, ваше величество. Раньше вы не думали о испытаниях. Или о том, чтобы противиться судьбе. Воле вашего Бога.

Ламберт, признаться, тут распоясался: так разговаривать с королевой!

Беднягу здесь никто не уважал и не боялся. Будем работать!

— Раньше я была благочестивой дура, — ответила я. — А теперь я мать. Тоже благочестивая.

Он достал из сумки пузырёк с мутной жидкостью.

— Вот. Успокоительное, как вы просили, ваше величество. То, что я всегда вам давал. Отвар валерианы, пустырника и ещё некоторых трав. Пейте перед сном, когда сердце колотится. А зелье для изгнания я приготовлю через три дня. Оно требует фаз луны.

Я взяла пузырёк. Понюхала. Вроде травы.

— Хорошо.

Травить Хуану здесь никому не выгодно. Слишком незначительная фигура.

— Ваше величество, — сказал карлик помедлив. — Разрешите задать вам вопрос? Просите мою дерзость.

И всё с поклонами, с улыбочками.

— Задавайте.

— Вы боитесь безумия? Тьмы, что накрывает нас по воле Бога?

— Я боюсь только одного, — я посмотрела на него. — Что моих детей отнимут. Всё остальное — ерунда.

Он кивнул, и в его глазах мелькнуло уважение.

— Тогда я счастлив успокоить вас, ваше величество. Вв на удивление разумны для слабой женщины. Безумцы о детях не думают. Они думают только о себе.

Я хмуро кивнула и постаралась переменить тему.

— Синьор Венсье, — сказала я как бы невзначай, — как здоровье моего мужа? Вы ведь осматриваете его? Он говорил, что чувствует слабость после охоты, а обычно — прилив сил.

Ламберт напрягся. Это было заметно — по плечам, по тому, как он невольно сжал пузырёк в руке.

— Король он здоров, ваше величество. У него хороший аппетит, он много двигается. В нём много жизни.

Ага, если считать жизнью охоту за юбками!

— Синьор, — я повысила голос. — Я спрашиваю не о его аппетите. Я чувствую неладное. У меня есть предчувствие. Что он может заболеть. Тяжело.

Лекарь помолчал. Потом сказал тихо:

— Его величество недавно пил воду из колодца в одном из поместий. Я велел проверить эту воду. Там нашли нечистоты. — Он кашлянул. — Но пока нет никаких симптомов. Я

дал ему профилактическое средство. Чеснок, полынь, вино.

Ну всё, теперь я спокойна! Ах да, это же только чеснок и полынь, а не антибиотик!

— Вы верите, что это поможет?

— Надеюсь, — он уклонился от прямого ответа.

Я поняла: что-то скрывает. Или не уверен. Или уже видел признаки, но боится сказать.

Почему-то внутри меня вызрела уверенность, что если Филипп останется жив, то всё можно изменить.

— Синьор Венские, — я встала, подошла к нему вплотную. — Я — мать наследниц Кастилии. И если король заболевает — я должна знать. Чтобы защитить себя и детей. Чтобы уберечь сына, возможно, растущего в моём чреве.

Я положила руку на живот и ощутила еле заметное тепло под платьем.

Конечно, пока было рано говорить, но моё тело изменилось. Нет, грудь не налилась, месячным прийти ещё рано, но в области солнечного сплетения поселился солнечный лучик. Его ощущала лишь я одна.

Карлик поднял на меня глаза. В них была странная смесь страха и отвращения.

— Ваше величество, я понимаю вашу заботу. Но давайте дождёмся возвращения его величества с охоты. Если будут признаки — я вас извещу.

— Известите, — кивнула я. — А пока приготовьте то зелье. И принесите его лично.

— Непременно, ваше величество.

Он поклонился и вышел. Я осталась одна.

Пузырёк с успокоительным остался на столике.

Я взяла его, понюхала ещё раз. Травы. Ничего опасного.

И ничего целебного.

«Но пить я его не буду, — подумала я. — Ничего, что приходит от этого человека, пить не буду. Испытаю на ком-нибудь. На Петроне. Или на той фрейлине, которая слишком часто смотрит на Филиппа. Как там её зовут? Изабелла? Как мою мать».

Мать Хуаны.

Внутри шевельнулась злость прежней хозяйки этого тела. Я не стала её подавлять — пусть. Сейчас она была союзницей.

Я подошла к окну. Во дворе уже отъезжала карета лекаря. За ней падал снег — первый в этом году.

Здесь, в Бургундии зимы тёплые, но эта обещала быть холоднее прочих.

«Филипп умрёт через несколько месяцев, — прошептал внутренний голос. Но чей — мой или её? — Если ты ничего не сделаешь».

Я положила руку на живот.

— Я сделаю, — сказала я тихо. — Я не дам ему умереть. Хотя бы потому, что если он умрёт — меня убьют не сразу. Сначала запрут в башне и будут кормить похлёбкой, пока я не сойду с ума по-настоящему. Лишат детей.

Дети! Я так и не видела их!

Элеонора, Изабелла. Одной три, второй — годик с небольшим.

Мои девочки!

Я вздохнула и прислушалась к себе. Ничего не чувствую.

«А может, — подумала я, — это не мой ребёнок? И они — не мои дочери. Может, это её дети Хуаны? И я просто гостя? Наседка, которая высиживает чужое яйцо? И которая должна взрастить чужих птенцов?»

Я всегда была против усыновления. Мне хотелось сердцем, телом, утробой почувствовать связь между детьми и собой.

Нет. Не хотелось верить в то, что я просто воспитательница.

Мой сын. Мои дочери. Моя кровь. Моя плоть. Даже если тело чужое.

Я провела ладонью по животу — пока ещё плоскому, ничего не обещающему.

— Тихо, малыш, — прошептала я. — Mamочка всё решит. Я защищу тебя и твоих сестёр.

За окном всё падал снег. Белый. Чистый. Как саван.

Я вздрогнула и отошла от окна.

Надо было действовать. Ждать нельзя.

Я должна увидеть дочерей, поговорить с малышками, даже если они ничего не понимают. Но сначала — дела.

Я подошла к секретеру, достала перо, бумагу и написала

три письма.

Первое — отцу. Королю Фердинанду. Вежливое, почтительное. С просьбой прислать лекарства из Арагона.

Аргумент: здоровье королевства.

Не подействует, но хоть что-то. Проверю, как ответит отец. Если верить памяти Хуаны, он не любил дочерей, а сын умер от чахотки. Или от усердия в постели жены.

Возможно, от одного и второго одновременно.

Второе — папе римскому. Тоже почтительное. С просьбой о благословении для будущего наследника.

Чтобы не забыл обо мне и о том, что я — оплот католицизма при местном бургундском дворе — рассаднике вольнодумства.

Третье — самому Филиппу.

Короткое:

«Возвращайся ко мне скорее. Я скучаю и жажду твоей супружеской любви. Помни, что пока я рядом, ты полон сил. Твоя Хуана».

Это было ложью. Но хорошей ложью, правильной. С налёком: не станешь слушаться — пожалеешь.

Он сейчас не поверит, убедится позднее.

Я вспомнила красивое лицо и тело мужа. Да, за такого самца можно побороться даже со смертью.

Я запечатала письма сургучом и позвонила в колокольчик. — Петрона! Отправь это с нарочным. Немедленно.

Петрона вопросительно вздёрнула бровь.

— Слушаюсь, ваше величество. Но разрешите ли сначала почитать их?

А, да, мать, великая королева Изабелла, приставила Петрону моей наставницей, но я уже вышла из возраста, когда мне нужна нянька.

— Не дозволяю, — произнесла я так жёстко, что она опешила и заморгала глазами, будто собиралась заплакать. Пришлось смягчиться. — Я благодарна тебе за заботу и наставления, но эти письма я пишу как королева. Я не хочу их читали те, кому они не предназначены.

Прочитают, конечно, но моя свита должна запомнить, что я главная.

— Приведите ко мне дочерей. Я хочу увидеть малышей. Узнать, как их успехи.

Моё лицо дрогнуло в полуулыбке.

— Да, ваше величество.

Петрона ушла с письмами, глядя на меня с новым выражением. Уже не как на безумную. Как на непредсказуемую, как на ту, что себе на уме.

С одной стороны, неплохо. Пусть привыкают — я не покорная кукла.

С другой, это было хуже, чем если бы меня считали безмозглой.

Потому что непредсказуемую всегда можно объявить сумасшедшей.

Я подошла к зеркалу.

— Здравствуй, Хуана, — сказала я своему отражению. — Поговорим, когда ты проснёшься. А пока — спи. Мне нужно поработать над нашими делами.

В отражении мне почудилась усмешка. Или это просто игра света?

Я отвернулась.

Снег всё падал.

А в животе затаилась жизнь.

И ни один монастырь в мире не отнимет её у меня. Как и двух других девочек!

Глава 8. Две звёздочки мои

Я ждала их в малой гостиной.

Камин горел ярко, но в комнате всё равно было холодно — огромные окна пропускали сквозняки. Я сидела в кресле с прямой спиной, как учили в другой жизни, и сжимала подлокотники.

Надо будет что-то делать с окнами, пусть их подоткнут тряпками, чтобы сохранить тепло.

«Ты никогда не занималась детьми, — шепнул внутренний голос. Теперь я уже не различала — Хуанин или мой. — Ты только молилась за них. И плакала. А няньки делали всё».

— Сегодня я сделаю всё сама, — ответила я вслух.

Дверь открылась. Петрона вошла первой, за ней — две женщины в тёмных платьях, а между ними

Сердце пропустило удар.

Две девочки.

Старшей, Элеоноре, было три года.

Рыжая, как отец, с огромными серо-голубыми глазами и тонкими, бледными губами. Она держалась за руку няньки и смотрела на меня с опаской — так смотрят на чужую тётю, которую видят раз в месяц.

И которую приучились заочно бояться и кланяться.

Элеонора сделала очень элегантный реверанс.

Младшая, Изабелла, годик с небольшим, сидела на руках у кормилицы.

Темноволосая, как Хуана, пухлая, с кулачками, зажатými у рта. Она тарасилась на огонь в камине и икала. Подкашливала.

Во мне всколыхнулась ярость.

— Ваше величество, — гувернантка, худая француженка по имени мадемуазель Жиллобье, сделала книксен. — Девочки здоровы. Мы занимаемся с ними каждый день по женской программе.

То есть шитьё, реверансы. Умение вести беседу. Полезные навыки. Если ты желаешь, чтобы кто-то другой распоряжался твоей судьбой.

— Моя мать, королева Изабелла, сама правила. И считала, что девочек надо воспитывать как наследниц престола.

Я заметила, как переглянулась свита. Опять считают мои слова чудачеством. Или безумием.

Какой сейчас год на дворе?

«1505», — подсказал разум. Начало просвещённого, если можно так сказать, шестнадцатого века.

— Я хочу посмотреть на них поближе, — сказала я гувернантке и поманила девочек пальцем. — Элеонора, подойди ко мне.

Старшая сделала шаг, другой. Остановилась в трёх метрах. Губы дрожали.

— Не бойся, — я улыбнулась. — Я твоя мама.

— Да, миледи, вы редко с нами, — сказала девочка тонким голосом. Удивительно развита для трёхлетнего ребёнка. Может, система образования не так и плоха. — И всегда плачете. Не плачьте, миледи.

Внутри кольнуло — Хуанина боль, острая, как игла. Я знала: она действительно почти не видела детей.

Сначала беременность, потом роды, потом депрессия, слёзы, молитвы. Муж изменял, она замыкалась. Детей растили чужие.

Всё равно это «никчёмные девочки»!

При дворе считали — есть только дочери, значит, считай, нет детей.

— Сегодня я не буду плакать, — пообещала я. — Иди сюда.

Элеонора приблизилась. Я взяла её за руку — тоненькую, холодную. Потрогала лоб. Не горячий. Посмотрела в глаза — ясные, без гноя. Зрачки нормальные.

Я хоть и не врач, но опыт имею. Пусть и с младенцами.

— Ты хорошо ешь?

— Да, миледи — девочка удивилась. — Манную кашу. И бульон.

— А живот не болит?

Элеонора поморщилась и прижала руку к животу.

— Иногда, миледи. Мадемуазель говорит, это от ветров. И даёт мне мятный чай.

«Ветры», — подумала я. Или глисты. Или дисбактериоз.

Или ещё что-то, что при средневековой гигиене — обычное дело.

— Раздень её, — сказала я гувернантке. — Я хочу посмотреть.

— Ваше величество?! — гувернантка побледнела и кинула взгляд на Петрону, чтобы та вразумила безумную. — Но здесь холодно

— Я сказала — раздень. И заткните оконные щели тряпками, немедленно!

Мой голос не терпел возражений. Женщина замешкалась, но Петрона кивнула, и девочку быстро освободили от платья, сорочки, панталон.

Элеонора стояла перед камином, дрожа, с синими губами. Я опустилась перед ней на колени. Потрогала живот — мягкий, не вздутый. Надавила слегка — девочка не вскрикнула, только дёрнулась.

— Больно?

— Немножко, миледи мама, — прошептала она.

Я пощупала лимфоузлы на шее, под мышками — не увеличены. Посмотрела кожу — нет сыпи. Всё чисто.

— Одевайте скорее, — сказала я. — И давайте ей тёплого питья. Не мятного — ромашкового. И уменьшите порции каши на ночь. И пусть спит с грелкой на животе.

— Ромашкового? — переспросила гувернантка. — Но у нас нет

— Будет, — я посмотрела на Петрону. — Распорядись.

Не знала, росла ли здесь ромашка аптекарская, но должна же была!

Петрона кивнула, но в глазах застыл холод: «Что за блажь, ваше величество?! Так не подобает себя вести королеве!»

Ага. Видимо, подобающее поведение — сидеть куклой и улыбаться на приёмах, да рожать новых детей взамен умерших прежних.

Фиг вам!

Я взяла младшую. Изабелла была тяжёлой, тёплой — и когда я прижала её к груди, вдруг затихла. Перестала икать. Уткнулась носом мне в ключицу и засопела.

— Она кашляет, я заметила — сказала я кормилице.

Кашель был влажным, значит, давно уже начался.

— Немного, ваше величество. Зубки режутся, слюнки текут, вот и покашливает.

Я приложила ухо к её грудной клетке — навык, въевшийся в плоть за двадцать пять лет. Дышит чисто. Хрипов нет. Температуры нет.

Слава Богу!

— Если кашель усилится — сразу мне доложите, — сказала я. — Без всяких там «зубков». Поняли?

Так я смотрела и так гоняла молоденьких акушеров, которые становились со мной в смену и хотели всё время провести её, уткнувшись носом в телефон.

Кормилица испуганно закивала.

Я сидела с Изабеллой на руках, посадила рядом Элеонору,

держала в своей руке её маленькую ручку, чувствуя, как в груди разливается незнакомое, тягучее тепло.

Не Хуанино. Моё. То самое, которое я ждала двадцать лет. Которое не могла получить.

«Чужие дети, — сказала я себе. — Тело чужое, дети чужие. Но я чувствую чудо».

Я поцеловала макушку Изабеллы — пахло молоком и чем-то сладким. Элеонора встала, подошла ближе и прижалась к моей ноге.

— Миледи, мама, вы пахнете по-другому, — сказала она.

— Это новые духи, — ответила я. — Тебе нравится?

Девочка ничего не ответила, смутилась и сделала реверанс.

На прощание я обняла их обеих. Одной рукой — младшую, второй — старшую. И почувствовала, как в груди закипают слёзы — но не отчаяния, а какой-то дикой, первобытной решимости.

«Никто. Никто не отнимет их у меня. Даже если они не мои по крови. Они мои теперь».

Глава 9. Гигиена - всем!

Час спустя я пошла в столовую. За обедом.

Признаться, порядком проголодалась за делами, позавтракать не успела.

Филипп ещё не вернулся, так что мне предстояло ужинать одной в присутствии свиты.

Был подан суп — жирный, пересоленный. Хлеб — чёрствый. Мясо — с кровью, как любил Филипп. Я взяла кусок, понюхала — пахло чем-то кислым.

— Принесите мне чистую воду, — сказала я слуге. — И мыло.

— Мыло, ваше величество? — он опешил.

— Мыло. Тёплую воду. Тазик. И полотенце. Я хочу вымыть руки перед едой.

Петрона, стоявшая у двери, побледнела. Фрейлины помладше, часть из них были местными дамами, переглянулись. Я слышала шёпот:

— Королева моет руки сама перед едой это же нечисто это грех вода смывает благодать

Я громко хмыкнула.

— Я не хочу заболеть, — сказала я. — И не хочу, чтобы болели мои дети. В грязи — болезни. Чистота — угодна Богу. Или вы считаете, что Господь любит, когда его творение ходит в нечистотах?

— Но, ваше величество — начал было дворецкий. — Как же ваш обет

— Делайте, что сказано. Не смейте указывать мне на мои отношения с Господом нашим.

Я перекрестилась, чтобы не прослыть еретичкой.

Хуана додумалась дать обет Богу, что не будет мыть рук до того, как не родит сына.

Подобно её матери, королеве Изабелле, которая не мылась все восемь месяцев, пока шла осада Гранады. За это время нижние сорочки матери Хуаны приобрели серо-желтоватый цвет, который художники и прозвали «изабелловый».

Но я была далека от подобных жертв. Не видела в них смысла: истязать себя можно по-другому. Например, дам обет, что откажусь от сладостей, пока не рожу.

И на пользу, и обет соблюден.

Мне принесли таз, кувшин с тёплой водой, кусок серого мыла. Я тщательно вымыла руки — между пальцами, под ногтями, до локтей. Потом вытерла льняным полотенцем, которое велела сменить.

За столом воцарилась тишина. Придворные смотрели на меня так, будто я только что плюнула в распятие.

— Что? — спросила я. — Ешьте. Или вы не голодны?

Кто-то прошептал на другом конце дальнего стола:

— Она сошла с ума. Окончательно.

Я сделала вид, что не услышала.

Но внутри закипело. Не моя злость — Хуанина.

Та, что прежде выплёскивалась в криках и швырянии подсвечников. Я сжала вилку — серебряную, тяжёлую — и мысленно сказала себе:

«Спокойно. Они привыкнут. Я введу гигиену постепенно. Сначала руки. Потом чистая посуда. Потом кипячёная вода для детей. И никакой чумы, никакого тифа. А если кто посмеет назвать меня безумной — пусть попробует доказать».

Я съела суп — только жидкую часть. Хлеб отложила — слишком чёрствый. Мясо велела забрать и пережарить.

Дворецкий вздохнул, но выполнил.

После обеда я подозвала Петрону.

— Приготовь детскую. Я буду каждое утро осматривать девочек. Сама. Мыть их, чистить зубы — у них же есть зубы?

— Есть ваше величество, — Петрона растерянно моргала.

— Но это работа няnek

Действительно, это я погорячилась.

— Теперь я буду следить за тем, как они её выполняют..

И ещё — я хочу, чтобы в детской всегда была чистая вода.

Кипячёная. Для питья.

— Кипячёная? Но зачем? Это мёртвая вода.

— Затем, что в сырой воде — болезни. Ты не знала?

Петрона покачала головой. В её глазах читалось: «Безумие. Полное безумие. Написать королю Фердинанду».

Но я уже встала из-за стола и повернулась к окну.

Снег шёл. Там, за окнами, был мир, который считал меня сумасшедшей. И мир, который я собиралась переделать —

хотя бы ради двух рыжих и одной тёмной головы.

— Принесите мне медицинские книги, — сказала я. — Всё, что есть в библиотеке. И найдите мне толмача, который умеет читать по-арабски. Или по-гречески.

На местных лекарей, способных растолочь крапиву с алое и выдать это за лекарство от всех болезней, надежды не было.

— Ваше величество, — прошептала Петрона, когда я позволила одеть себя в тёплое пальто и велела всем пойти на прогулку в сад. — Что с вами?

— Я проснулась к новой жизни, мне было откровение от Господа нашего, — ответила я. — Иди. И не задавай лишних вопросов. Лучше пусть оденут девочек покрепче. Им пойдёт на пользу свежий воздух.

Перечить мне никто не посмел.

После того как я была готова (вспотела, правда, все всё делали, как назло, очень медленно), мы вышли на свежий воздух.

Я положила руку на живот — там, внутри, горел огонь, который чувствовала только я: это затаилась

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.